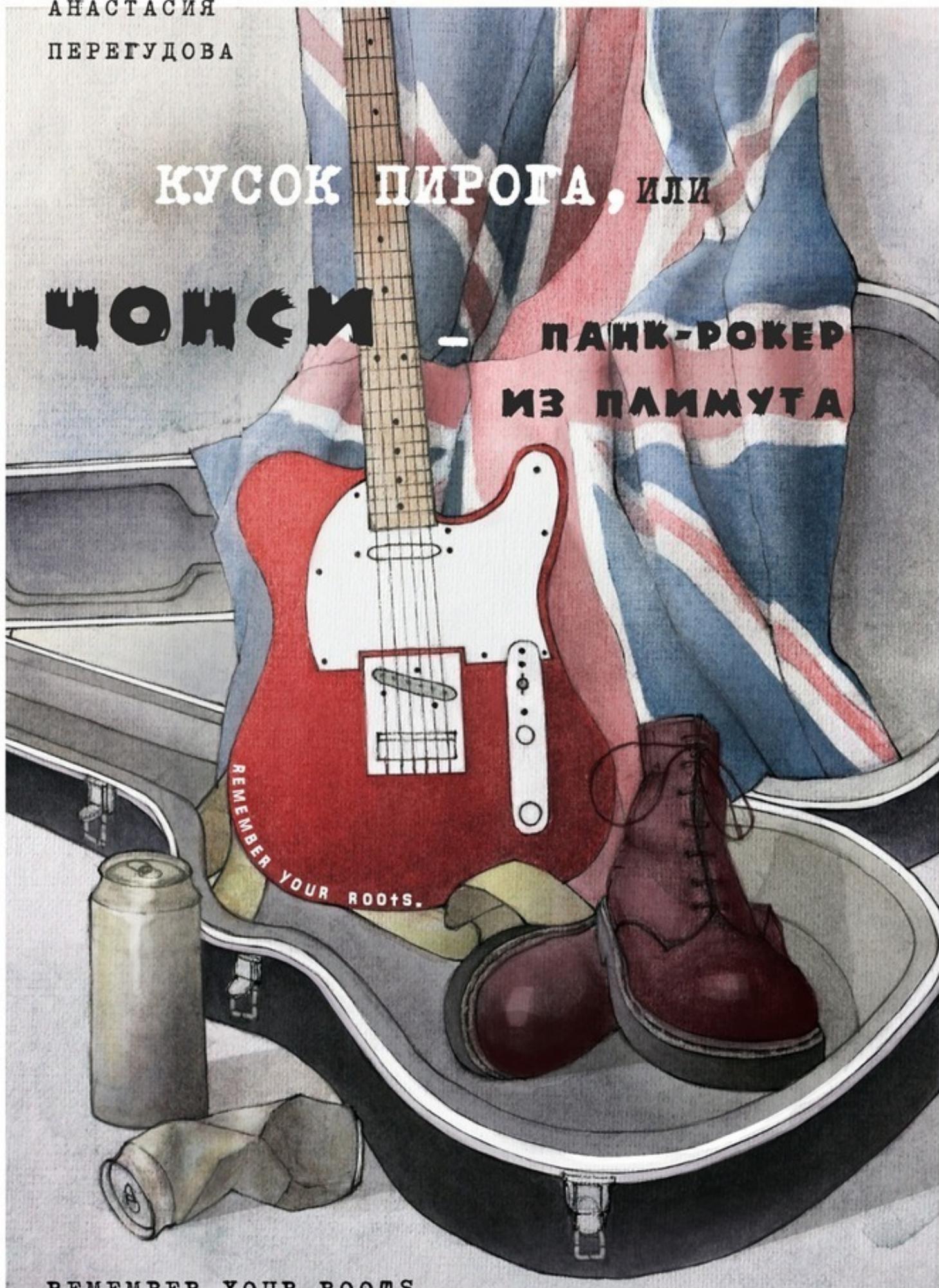


АНАСТАСИЯ
ПЕРЕГУДОВА

КУСОК ПИРОГА, ИЛИ

ЧОНСИ — ПАНК-РОКЕР
ИЗ ПЛИМУТА



REMEMBER YOUR ROOTS.

Анастасия Перегудова

**Кусок пирога, или Чонси
– панк-рокер из Плимута**

«Издательские решения»

Перегудова А.

Кусок пирога, или Чонси – панк-рокер из Плимута /
А. Перегудова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-857126-8

Англия, 60-70-е годы. Эпоха «британского нашествия» и расцвета панк-рока. Портовый городок с его жителями, шумные пабы и футбол, пропахшие пивом улицы и толпы «субкультурной» молодежи, концерты в прокуренных клубах с хриплыми голосами и скрипом гитарных струн. Вот в такое время растет наш герой — Чонси, мальчишка из простой семьи, который рванет за музыкой, вслед за своими мечтами и страхами, сомнениями и идеями, и найдет свой путь, протоптанный подошвой увесистых «мартинсов».

ISBN 978-5-44-857126-8

© Перегудова А.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Часть 1. Красные ботинки, черные шнурки	7
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Кусок пирога, или Чонси – панк-рокер из Плимута

Анастасия Перегудова

Главный редактор Дмитрий Скрябин
Помощник редактора Сергей Скрябин
Художник обложки Анна Вакуленко

© Анастасия Перегудова, 2017

ISBN 978-5-4485-7126-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Посвящается моей семье

Предисловие

Дорогие читатели, я постараюсь быть предельно краткой в своих размышлениях (хотя, мне только повод дай..). Ведь самой уже не терпится, когда вы приступите к знакомству с Чонси!

Мое безумное погружение в идею о панк-рокере из Плимута началось еще зимой 2015-го (хотя заражение музыкой и англomanией случилось гораздо раньше, году эдак в 94-м...). Все мое внимание, мысли и силы тогда были сконцентрированы на рыжем мальчугане и его жизни, приключениях, проблемах и мечтах. Да что там, я до сих говорю о Чонси как о реально существующем человеке! Для меня он больше, чем просто фантазия, как и остальные персонажи, к которым прониклась я не меньше Чонси, каждого полюбила, каждого выслушала и приняла.

Конечно, перечитывая сейчас свою книгу (о боже, мне даже слово «книга» произносить странно, неужели свершилось, неужели это явь!), я осознаю, что мои мысли и стиль письма претерпели изменения, как и вообще то, что произошло со мной после периода работы над «Куском пирога». Но, знаю точно, что я ни капли бы не переименовала, так как в истории про Чонси заключена огромная часть меня. Масштабный путь взросления я прошла вместе с любимыми героями, наблюдая за миром их глазами. И видеть плод своего воображения в книжном варианте – под настоящей обложкой, с настоящей редактурой и с настоящими шелестящими страницами – все равно что держать в руках коробку с надписью: «*Осторожно! Хрупкое!*»

А теперь выпускаю я свое творение в свет, как будто лодку отвязываю от причала и наблюдаю, как она медленно отплывает в море.

Эта история – моя дань музыке. Не только панк-року: в целом – *музыке*, которая заключает в себе весь мир, как бы гиперболично ни звучало. И – дань творчеству, в любом его проявлении: многогранному, безбрежному, вечному.

Напоследок скажу вот что.

Эта книга для тех, кто живет музыкой. Кто знает, каково это, когда во время концерта заряжаешься каким-то электричеством от музыкантов, а при прослушивании любимых песен в груди разгорается немыслимый пожар, точно говорю, – пожар!

Для тех, кто жаждет до новых ритмов и композиций. У кого в голове живет невероятное количество вызубренных мелодий и текстов песен.

Для тех, кто и на творчество, и на мечты, и на свой собственный мир рамок не цепляет, кто честен с собой и знает, чего хочет, кто рвется в бой и не ищет легких путей. Кто остается верным себе, но не страшится перемен, – и *помнит о своих корнях*.

Для настоящих мечтателей, путешественников и свободолюбивых поэтов.

15 сентября 2017

Часть 1. Красные ботинки, черные шнурки

Шнурки завязывать я научился, будучи полноценным трехгодовалым отпрыском, хотя, признаться честно, задатки *такого* талантища зародились аж за полгода до того – поистине символичного – события.

Еще не исполнилось мне тогда и двух с половиной лет, как я, непоседа, шалости которого дошли до ушей всех жителей на пять кварталов вперед, под три фута ростом, всю колешил на беспедальном велосипеде по дому, не боясь постоянно спотыкаться о задернутый край колючего ковра. И затем, на подкашивающихся от двухколёсного раздолья ногах, как угорелый, мчался через кухню в гостиную, а оттуда – в прихожую, где, отдышавшись, пел и плел одному мне известные, затейливые фигурки и гордые узлы из шнурков, какие в изобилии водились на пыльной обуви отца и брата возле коврика перед входной дверью. (Лишь счастливнице-маме не доставалось от меня сюрпризов, поскольку на ее туфлях-лодочках не имелось шнурков, равно как и стремящихся бесконечно запутываться, мудреных ленточек).

Мой брат, тогда еще четырнадцатилетний, Гровер, хохотал надо мной, если заставлял за таким *сокровенным* занятием, а вскоре вообще прозвал меня за такие проделки «шнурочным монстром». Увы, отец не был в восторге, когда приходил после трудного рабочего дня – а порой и приползал с початой бутылкой хереса, – он отворял ударом кулака дверь, торжественно ступал (или же торжественно вползал) на скрипучую половицу с криком: «Дорогая, мать твою, я вернулся!» И, к моему немалому удивлению, отец тут же (не успевал затихнуть скрип половицы) замечал, что все ботинки его, от парадных штиблет до башмаков-ветеранов со стертymi до дыр пятками, отныне переплелись извивающимися нитями шнурков. Мне они представлялись копошащимися в кипящей кастрюле вермишельными червяками, я даже пробовал их есть, но было четкое ощущение этакой недоваренности.

– Твою ж дырку за шнурок! – принимался в стократ громче обычного орать отец, пока мама не выбегала к нему из кухни в измазанном мукой и кусочками теста фартуке, приправленном ядрено-бордовыми пятнами вишневого джема. Перепачканная густым месивом из тягучего теста ложка в ее руке представлялась мне, просовывающему преисполненный любопытства кончик носа между лестничными балками со второго этажа – весьма опасным холодным оружием. Удивительно, но у меня и в мыслях не было этакого, чтобы спрятаться от разгневанного отца. А Гровер спохватывался и брал всю вину на себя: спускался по лестнице вниз, захлопывая дверь в свою комнату, прерывая тем самым прослушивание музыкальной пластинки (по его же сведениям, он там якобы уроки делал, в таком-то шуме!), и сознавался папе в том, что, мол, это он напорточил – и, ах, эх – как ему стыдно! Хотя, отец явно не верил его показному раскаянию. Я же в свою очередь неотрывно глядел вниз, где на стенке прихожей висели часы и ждал, когда же часовая стрелка прекратит, наконец, колотить по циферблату с такой силой, что мое сердце, казалось, сейчас выпрыгнет и поскачет по ступенькам вниз. Игриво-хитрый блеск в отцовских глазах, чей взгляд вмиг устремлялся в мою сторону, отражался в моих зрачках неким свечением, приносящим болезнетворное ощущение сознанию, находящемуся где-то глубоко-глубоко в голове, и даже частично – области грудной клетки. Оттого-то я дышал так надрывно, вспоминая любимые черно-белые фильмы мамы, в которых видел порой мужчин и женщин, облаченных в строгие костюмы: хватались они за левый бок и выпучивали от скорбного шока глаза. («Воды мне! Воды!»).

А дальше, в кромешном безмолвии, – словно мы с отцом имели способность к телепатии, – я на цыпочках спешил по крутой лестнице вниз, стыдливо опустив голову. Как будто на эшафот спускался (кто это придумал, что на эшафот поднимаются?!), – а отец выступал моим личным палачом. Его суровый, пыливый взор пронзал меня насквозь (и это при моей

опущенной голове-то!); Гровера он просто отталкивал в сторону, да и матери велел немедленно возвращаться обратно к плите.

Так мы и оставались наедине: отец – с его долгоиграющей на губах улыбкой, полной ехидства, притворства и перчинки злости, и я – мысленно трансформирующийся в невидимку и вечно заламывающий за спиной пальцы, будто по костяшкам, как по ирландскому клеверу, гадал о предстоящем виде наказания. Ни разу при этом я не заплакал; ни один мускул на моем арестантском белом лице, как и на загрязнившемся годами лице отца, не дрогнул: от него мне и передавалась эта «мускульная сила» в такие, далекие от райской семейной идиллии, моменты.

Любимым кусочком моей неспелой душонки для отца являлась та ее часть, которая отвечала за чувства растерянности и одиночества. Поэтому любил он наказывать меня весьма скучным (как по мне), в меру изощренным образом: привести в порядок шнурки выходило лишь малой платой за восхитительный предыдущий беспорядок. Проторчать на крыльце перед домом с игрушечным зайцем в руках, в этом ужасном мире, в котором все шнурки на своих местах, – вот это уже превращалось в настоящую муку. Цеплялся, помню, я за лапу плюшевого зайца, глядя на его наполовину обгрызенные соседским псом уши, плюхался на верхнюю ступеньку деревянной лестницы на крыльце и глядел на заходящее за горизонт солнце. Никаких слез и всхлипываний не издавал: знал, что отец скоро пожалует за мной и потащит обратно в дом, либо мама выбежит из дома, устало улыбнется и возьмет меня на руки прежде, чем усадить за стол и накормить овсянкой со шпинатом. Все это я принимал за игру, – вроде прятки, но с видоизмененными правилами. Даже глаза, бывало, замуривал и на пальцах считал до пяти.

Когда на заячьих изуродованных ушах появлялись первые блики лунных поцелуев, а тени деревьев и качающихся на ветру веток расплзались по моим рукам и босым ступням, за моей спиной раздавался резкий скрип двери. Отец откашливался и звал меня в дом. А я, радостный, бросал на лестнице несчастного зайца, такого же несчастного, как и я минутой раньше, и вприпрыжку мчался на кухню. А иногда отец сажал – буквально закидывал – меня к себе на плечи и, пошатываясь, заходил в дом, издавая ртом жужжащие звуки, будто он – самолет-истребитель, а я – летчик, управляющий его ушами точно штурвалом. Уши отца соседский пес не грыз, видно, боялся его, и не зря боялся.

Помнится, стоило нам очутиться на кухне, как отец отпускал меня и, хлопая по спине, велел садиться за стол; сам он занимал свое место на стуле с расшатанными ножками. И брался он за очередную банку пива, до тех пор заглатывая забродившие алкогольные злаки, пока банка не прилипла к руке, а изо рта его не начинали выходить звуки отрывки и пьяного смеха. Мама тем временем, вздыхая и прикладывая ко лбу то правую, то левую ладонь, что-то усердно выговаривала отцу, затем вставала, вытирала руки о фартук и накладывала мне шпината в тарелку. Из всех ее слов, что долетали до моих ушей, я понимал только то, что она *невестка* как зла на отца, а тот в свою очередь и бровью не шевелил – продолжал хлебать со дна початой банки остатки бурых капель и махал на мать рукой. Я даже слова вымолвить не мог: не освоил тогда и маломальских азоров общения, не говоря уже о серьезном вмешательстве в «разговор взрослых». Сидел себе, дрыгал ногами, не доставая до пола, мычал себе что-то под нос да пачкал и без того заляпанный стол шпинатом, когда ронял вилку во время выдуманной мной игры в шпинатных человечков. Человечки эти приходили мне на помощь в любой затруднительной ситуации и волшебным шпинатным образом служили мне верой и правдой.

Однако долго сидеть за столом, слушая невнятное бормотание отца в ответ на мамины упреки, я не мог. Шпинатные человечки в доспехах из овсяных хлопьев выстраивались в ряды и колонны, спешили ко мне, мама же, абсолютно не замечая ни меня, ни моих верных солдат, забирала посуду, швыряла в раковину, и там они геройски погибали под струями воды. Уши мои горели от стыда и отчаяния. А мама хватала с подоконника сигареты и продолжала пори-

цать отца. Руки ее начинали дрожать, она переходила на крик, лицо и шея покрывались красными пятнами; вот только я не понимал, почему кожа мамы меняет цвет, – тогда как на лице отца ни один мускул не подрагивает. Сигаретный дым вперемешку с алкогольными парами, ужин, разбавленный скандалом, вечер с приправой из злости и отчаяния. Мама без остановки курила одну за другой, тогда я успевал тихонько положить вилку на стол, сползти со стула и убежать прочь с кухни. Подальше от дыма и криков, чтобы не слышать, как ругаются родители.

А убежал я в комнату к брату. Днем брат ходил в школу, и с малых лет я четко сознавал, как не хватает мне Гровера, даже если не видел я его всего-то пять пролетов на циферблате между черной девяткой и двойкой, пока тикающая стрелка выделявала один за другим круги. Вечером за столом Гровер обычно помогал мне управляться со столовыми приборами: кормил кашей и вытирал мне подбородок, если кусочки еды не помещались у меня во рту; учил правильно держать вилку, напевал какие-то мудреные мелодии и даже игры на ходу выдумывал, будто мы с ним находились на борту космического корабля, и тарелка с кашей превращалась в пульт управления огромной машиной, бороздящей просторы неизведанных галактик. Подобным образом он частенько отвлекал меня от вспыхивающих между мамой и папой споров; однако иной раз вертел пальцем у виска и поднимался к себе, чтобы в менее напряженной обстановке подготовиться к школе. По крайней мере, именно это Гровер отвечал обеспокоенной матери, если та вдруг замечала, что он не притронулся к ужину; сам-то он втихаря хватал со стола недопитую отцом банку пива и тащился к себе, готовиться если не к занятиям, то к чему-то одному ему известному. Тяжко вздыхая и насмешливо качая головой, мама бралась за пачку сигарет, краем глаза глядя вслед Гроверу, и вновь возвращалась к разговору с отцом на повышенных тонах. Отец же предпочитал отмалчиваться, распластавшись в позе морской звезды на диване.

Взбирался я вверх по лестнице, карабкался по ступеням, подобно миниатюрному своему зайцу, и, вставая на цыпочки, дотягивался до дверной ручки. Гровер как ни в чем не бывало валялся обычно на кровати, упираясь ступнями в стену, и с зажмуренными глазами что-то певуче бурчал себе под нос, даже если никакой мелодии вовсе не разносилось по его комнате. Но в основном музыкальные звуки, разлетающиеся по комнате брата, не смолкали. Звуки, которые представлялись моему детскому воображению чем-то лимонно-апельсиновым на вкус и даже мягким на ощупь, оседали в памяти сразу же, как только проникали в уши. Ползком добираясь до кровати Гровера, я залазил наверх и, чуть стесняя его движениях, в точности до дюйма повторял позу брата – ступни упираются в стену, голова запрокинута, руки покоятся на груди, а глаза закрыты. Делая вид, что не замечает меня, Гровер продолжал напевать мелодии, которые называл странными (и не менее страшными) для меня словами – «реггей», «рокстеди», «ска» и «соул». Пытаясь выговорить хоть одно из них, я тыкал пальцем в сторону грампроигрывателя и выдавал, как штампованные: «эгги», «стеди», «ка» и «сол».

А затем, что отчетливо врезалось мне в память, Гровер начинал меня щекотать. Так просто, легоньким махом заваливал на подушку и щекотал. Я пищал, подобно зверьку, выгибаясь в спине и пиная малюсенькими коленями брата в бока и живот. После того, как дышать от смеха было уже нечем, а глаза слезились, Гровер скатывался на ковер, непременно стаскивая и меня за собой. Глядя в прорези солнечного света, скользящего по вуали из однослойной пыли, он мерно ловил губами воздух, а я прислонялся ухом к его груди и слушал, как колотится сердце. Колотилось оно точно в такт тем самым мелодиям, что звенящими ручьями расплескивались по комнате.

– Эгги, эгги, – картавил я и хитро прищурился, словно выжидая реакции брата.

– Реггей, – поправлял Гровер, заливаясь хохотом. – Вот она, музыка, Чонс. – Он терся носом об мою наполовину лысую макушку, а потом шуточно спихивал меня с себя и принимался скакать по комнате, как заводная обезьянка, чтобы я захотел поймать его и опять столк-

нуть на пол. В те моменты я ощущал нечто *особое*, что тогда еще не мог описать ни словами, ни мыслями – то, что впоследствии бы сумел причислить к состоянию *непомерного счастья*.

Связь с Гровером, который, сам того не сознавая, постепенно становился для меня кем-то средним между братом, мамой и папой в одном лице, крепла с каждым днем, что мы проводили вместе. Я всегда смотрел на него снизу вверх – в прямом и переносном смысле: в основном, конечно, в силу своего роста. Однако такой взгляд, «снизу», являл собой не что иное, как выражение искренней симпатии и уважения по отношению к брату. Глядя на него, с самых малых лет, я видел лицо человека, на которого, вопреки всему, хочется равняться. И карикатурно впитывать в себя его мимику, жесты, привычки – как во время просмотра диснеевского мультфильма, антропоморфным героям которого веришь, отчасти пытаешься им подражать.

Со временем воспитание мое всецело сосредоточилось в руках Гровера. В то время как отец большую часть дня проводил в порту, чередуя свои умения таскать тяжелые грузы с прищартованных суденышек с умением мастерски прохладиться и лакать из бутылки горячительные напитки в не лимитированных количествах, Гровер читал мне сказки, на плюшевом медвежонке учил драться и придумывал какие душе угодно игры. Его изощренному воображению предела не было. Оттого и развлечений у нас было предостаточно.

Мама же безвылазно торчала на кухне, – то слоеные пироги с абрикосовым вареньем наготавливая, то добела натирая раковину и начищая плиту, окна и стены. Буквально помешанная на чистоте вокруг, но при этом ни капли не беспокоясь о чистоте внутри себя (она ограничивалась далеко не одиннадцатью штуками сигарет в день), мама сломя голову носилась по дому и, даже когда мыть уже было нечего, зорким взором выискивала малюсенькое пятно, крохотный след от раздавленной мухи, либо соринку на краешке стола, и принималась тереть, тереть, тереть, с губкой в руках и сигаретой в зубах. Волосы ее торчали в разные стороны, а лицо искажалось гримасами непреодолимой скорби, будто на ее глазах только что сдох уличный котяра; шея и руки ее покрывались красными пятнами точно так же, как при рьяных словесных разборках с отцом, и я не понимал, почему она никак не может взять и остановиться. Вот так и хозяйничала она не покладая рук, сновала туда-сюда, с раннего утра до самого вечера, ожидая, пока входная дверь на первом этаже хлопнет со всей силы, ознаменовывая столь шумным звуком приход отца. Отец приходил довольный, обласканный солнцем, ветром и морем, подогретый алкоголем, вполне готовый к новой ссоре и скандалу. Которые мама незамедлительно устраивала. Потому и заниматься со мной, маленьким проказником, времени не хватало, и она перекладывала все на плечи Гровера. Будучи абсолютно рассеянной, когда речь заходила о воспитании детей, мама могла запросто спутать, какой за окном день недели, тем самым позволяя Гроверу запросто прогуливать школу, не задумываясь при этом, почему, собственно, ее старшенький так часто запирается в комнате и на всю громкость врубает магнитофон. Ему, видимо, так лучше запоминается, думала она, со включенной на четыреста тридцать два герца музыкой.

Лишь изредка мама выпадала из своего моюще-чистящего режима и, засунув в рот очередную сигарету, звала нас с Гровером, каждый раз словно заново вспоминая о нашем существовании. Закидывая меня к себе на плечи вверх тормашками, Гровер тащил меня вниз, и мы, плюхаясь рядом с мамой, с двух сторон прижимались и так в тройных объятиях смотрели телевизор. Обычно мама настраивала канал на черно-белое старое кино, герои которого смешно мельтешили на экране, а речь заменяла игра на пианино. Наблюдая за кинозвездами того, старого доброго Голливуда, мама замирала и тушила о подлокотник дырявой обивки дивана сигарету. Когда я вспоминаю эти наши вечера, передо мной неизменно возникает образ смешного человека в черной шляпе-котелке. Он ходил корявыми шажками, расставляя ноги в своих больших ботинках так, словно хотел станцевать, но стеснялся – как раз-таки из-за своих клоунских ботинок. Мама смеялась, искренне и задорно смеялась, расслабляя плечи и откидыва-

ясь на спинку дивана. Перемещая взгляд то на смешного человечка в шляпе, то на маму, то на Гровера, который тоже хохотал, я начинал хихикать вместе с ними. Тогда, поворачиваясь в мою сторону, Гровер подмигивал мне и говорил: «Это Чарли Чаплин, Чонс, запомнил?». «Чали...», – улыбался я, глядя на экран, на того самого «Чали» с огромными ботинками, черными усами и утиной походкой.

– Вы только гляньте, он ведь настоящий романтический герой: и бродяга, и мечтатель, – как-то сказала мама. Мечтательно вздохнув, она потянулась и посмотрела на меня взглядом, полным душевной мягкости и скрытой печали. Затем усадила меня к себе на колени, принявшись поглаживать мой загривок на затылке, и прошептала на ухо: «*Мечтатели никогда не умирают*». Но тогда я не осознал вложенный в четыре коротких слова смысл, не понял, чего вдруг мама произнесла это вслух. Я только улыбался маме и прижимался к ней всем тельцем, чтобы вдохнуть исходивший от нее запах. Кукурузная мука, стакан молока, сладкий перец и душистый укроп – вот какой вкусный аромат представляла собой мама. И я всегда старался разгадать этот аромат, разобрать его на отдельные ноты-запахи. Утыкаясь носом в пропитанный ароматами кухни передник, я засыпал в маминых руках, слушая, как они о чем-то говорят с Гровером, пока в телевизоре играет звонкая песенка, сопровождающая похождения Чарли Чаплина.

Когда Гровер, делая одолжение учителям и директору школы, все-таки появлялся на уроках, я оставался с мамой. Она кормила меня разными кашами, добавляя в них ягоды и кусочки фруктов, гладила меня по волосам и пела песенку про паучка, пока собирала меня на прогулку. Притоптывая ногой, я учился петь, едва поспевая за ней своим писклявым голоском, а она улыбалась и целовала меня в обе щеки, оставляя на коже следы своей морковной помады, в нос по-прежнему забивался бессменный запах маминой кулинарии.

Однажды я потащил маму наверх, в комнату брата, где на второй полке книжного шкафа стоял проигрыватель: указав на музыкальную штучковину пальцем, я взглянул на маму и завизжал: «Эгги! Эгги!» Удивленно вскинув бровью, она пожала плечами и, взяв первую попавшуюся пластинку Гровера, поместила ее на основание проигрывателя и сместила иглу. Заслышав знакомые ямайские мелодии, под которые брат так любил качаться из стороны в сторону, я задрал вверх ручонки и принялся двигаться, подобно тому смешному человеку в котелке из телевизора, хлопая в ладоши и залиvisto смеясь. Мама начала танцевать рядом со мной, а потом так отчаянно вцепилась в меня, присев передо мной на колени, обняла и начала покрывать морковными поцелуями мою макушку, – так, словно потеряла меня, а теперь нашла и не могла поверить своим глазам. Хлопковая ткань ее платья врезалась мне в нос, она покачивала меня в такт музыке, и что-то неразборчиво бормотала. Мама всхлипнула и прослезилась – то ли от переполняющего ее счастья, то ли от непонятной мне грусти.

Я так и не разгадал ее слёз. Но, чтобы доставить ей удовольствие, впервые практически без запинки спел про паучка.

Исключительно благодаря Гроверу, который умел изъясняться на моем, детском, птичьем языке, я узнал, что наша мама всего-навсего была чересчур сентиментальна, она очень сильно любила нас, но порой из-за рассеянности и нервных состояний, вызванных каждодневными ссорами с отцом, забывала, как мы нуждаемся в ней.

– Она сама не вспомнит, – говорил Гровер, – и мы с тобой должны ей помогать.

Когда мне было четыре года, я всюю отплясывал на детской площадке с высоко поднятой головой и чумазыми щеками; нахватавшись от брата всяких словечек, ходил себе, шаркая по песку, и воображал себя теми парнями, чьи голоса звучали из магнитофона Гровера. К тому же, на мне висели чудные подтяжки, которые присобачил к моим джинсам Гровер. Мало того, что он вытворял *такое* с моей одеждой, в связи с чем мама панику разводила, так он еще и мои отросшие волосинки взьерошивал и укладывал их то набок, то наверх – так, что

на голове у меня торчал рыжий загривок. И если кто-то из детей хихикал над моим обликом, я с важным видом, научившись выговаривать букву «р», упирал руки в боки и заявлял: «Реггей!»

Преображал Гровер не только меня, – себя в первую очередь. Роясь как-то раз в кишащем старыми вещами чулане, он пытался выгрести оттуда как можно больше пригодных шмоток; и ему удалось: измазанные пятнами от солярки джинсы откопал, еще и отцовские рабочие ботинки на толстой подошве из хлама выудил. Я с преогромным любопытством совал свой нос во все дела брата, как пучеглазый соенок на него глядел, а потом в ладоши хлопал и говорил: «Я тоже хочу-у-у!» Усмехаясь, Гровер по привычке трепал меня по макушке и возвращался к примерке нарядов, таких, чтобы соответствовать особому стилю. Он вертелся перед зеркалом и прямо на себе зашивал дырки в рубашке, которую выклянчил у отца, пока тот был в добром расположении духа. Одежка практически пришлась Гроверу впору – наш папа не славился избыточной массой тела, а на Гровере слегка раздутая рубашка смотрелась замысловато и свежо. Подвернутые джинсы, протертые в коленях, громоздкие ботинки с крепкой шнуровкой и болтающиеся подтяжки – в таком виде он выглядел сурово, хотя его прическа вызывала у меня смех: сбритые виски и торчащие на макушке темно-русые волосы. Так Гровер изобретал свое новое эго.

Летом шестьдесят четвертого он умудрился напортачить на сто лет вперед (но как же он, балбес, собой гордился!). Дело было так. Найдя себе друзей и приятелей «по духу и прикиду», Гровер частенько пропадал до самой ночи, причем он никогда не имел привычки сообщать, куда направляется. Да мама и не интересовалась: знала, что спорить с шестнадцатилетним отпрыском бесполезно, а уж тем более отговаривать его от тех или иных затей. Что касается папы, ему вообще было сугубо плевать на то, почему его старший сын заявляется домой то пополуночи, то вообще на рассвете; отец либо очередным пузырем пива на кухне был занят, либо таскал все те же грузы в порту, а то и в пабе в картишки перекидывался. Вот Гровер и позволял себе такие вольности, но при том не забывал обо мне. Я-то, еще мелкий сорванец, по дому на велосипеде разъезжал, пока мама собиралась – вернее, пыталась собраться – со мной на прогулку, еле поспевая угнаться за мной. И чаще всего я следил за братом – за тем, куда это он намыливается, одновременно натягивая штанины и во весь голос напевая льющияся из магнитофона мелодии. Как только меня замечал, нарочито резко останавливался и со свойственным монстру рыком налетал на меня и хватал на руки. Закидывал на плечо и так кружил, умудряясь и щекотать еще, до тех пор, пока я не раскраснеюсь от переизбытка смеха и щекотки. Тогда, приземляя меня на диван или край стола, Гровер трепал меня за веснушчатые щеки и нос, взлохмачивал мне волосы и говорил: «Увижусь с друзьями и вернусь, не скучай». Вдобавок по возвращении обещал мне страшилок рассказать.

Ну а в то самое злополучное (для самого Гровера, конечно, – ох, какое счастливое) лето он умотал с друзьями в Брайтон, что в пяти часах езды от нашего Плимута. Помню, как я рвался поехать с ним, но меня, учившегося правильно букву «л» выговаривать, никто, конечно же, с безумным братишкой не отпустил. Вернулся Гровер только через три дня, которые лично для меня тянулись невыносимо долго, несмотря на то, что мама скучать мне не давала: сказки Уайльда читала, в парк кормить белок водила, даже «битлов» мне включала. А папа, отлучившийся на некоторое время от своих дел в порту, катал меня на спине и знакомил с карточным миром, щедро делясь секретами шулерства и продуманных ходов в покере, – за что получал подзатыльники и порицания от мамы, – попивая при этом банки пива, скрежещущие боками друг о друга как корабли у причала. А когда на третий день послышался скрип ступенек на крыльце, я завизжал и, спрыгнув с велосипеда, понесся к двери.

Как только дверь отворилась и с нее щедро посыпалась облезшая мутно-бирюзовая краска, на пороге показался Гровер: растрепанные волосы, разодранное колено на правой шта-

нине, грязнушие и истоптанные ботинки и самое комичное – иссиня-черный фингал под левым глазом и запекшиеся полоски крови под носом, на нижней губе и мелкие ссадины на щеках. Стоял он довольный, как мореплаватель, совершивший кругосветное путешествие, во все зубы улыбался и с ноги на ногу переминался. Он мгновенно подхватил меня с пола и прижал к себе, принявшись слегка подбрасывать в воздух и говорить, как скучал; а я начал хохотать, не понимая, что стряслось с братом, и что за черная краска у него на лице. Ну а мама... мама, выйдя из кухни и увидев Гровера, сначала зажмурилась, а потом резко и широко раскрыла глаза, принявшись хвататься за голову и повторять: «Боже, о, боже мой, боже мой». А я так и заливался смехом, пока Гровер не остановился, чтобы взглянуть на перепуганную маму. Она провела ладонью по его лицу и, только хотела ринуться в ванну за полотенцем и обеззараживающими средствами, как вдруг Гровер остановил ее и велел идти на кухню, где он все и расскажет.

Как оказалось, со своими друзьями Гровер попал в самый разгар потасовки, развернувшейся на брайтонском пляже между хард-модами и рокерами. Говорил он с придыханием и возбужденно размахивал руками и слюной брызгал, как будто только что смолотил целый лимон. Мама лишь охала и ахала, не понимая и половины «субкультурных» словечек, что приносил мой братец, и совсем на разделяя его восторженной реакции на случившийся мордобой. А папа же, наоборот, едва ли не аплодируя сыну за буйно проведенное время (ему впору!), хлопнул Гровера по плечу и даже сунул ему в руку свою драгоценную банку пива. В общих чертах поведал Гровер нам свою историю, с непомерным весельем и безумством; все сидел, раскачиваясь на ножках стула, только и успевал, что испарину со лба отирать и осушать протянутую папой банку пива (я и сам-то еле поспевал за его зажигательными речами). Все бы ничего, и обошлось бы без грохота мощным отцовским кулаком по столу, если бы не упомянул Гровер, переходя на тон ниже, что после такой-то прославленной драки упекли их с друзьями на сутки в полицейский участок. Полицейские, говорил он, сновали туда-сюда в смешных котелках-фуражках на головах, а потом как разгонялись и, разогнавшись достаточно, своими дубинками треклятыми, точно волшебной палочкой из дурной сказки, отвешивали неслабые удары всем без разбору – что рокерам, что модам досталось в равной степени. На этом моменте рассказа отец так громко стукнул по столу, что Гровер от неожиданности со стула грохнулся; мама тем временем натирать виски принялась, а я внимательно наблюдал за кряхтящим на полу братом, хотя и веселили меня изрядно его истоптанные подошвы ботинок.

Папа надавал брату подзатыльников, схватил мамины сигареты и, разъяренный, вышел на крыльцо покурить и дух перевести. Недовольная выходкой Гровера мама ограничилась охающим и ахающим возмущением и «допытывающими взглядами», от напряжения вены на ее веснушчатом лбу проступили сквозь тонкую кожу, а шея вновь покрылась багровыми пятнами. Сам Гровер, поднявшись с пола, взгромоздился обратно на стул и, виновато кашлянув, извинился перед мамой, мол, с кем не бывает, и схватил меня за шкуру, потащив вверх – для продолжения приключенческой истории. Придя к нему в комнату, мы плюхнулись на ковер; брат снял ботинки, откинув их под стол, и усадил меня к себе на колени, немедля вернувшись к дальнейшему рассказу. Вдохновенно он описал, как одной левой бил высоченного рокера в клепаном ремне, который впоследствии, тот самый рокер, и угодил Гроверу прямо по правой ноге – как истинный хвостун, он закатал штанину и продемонстрировал мне свой чернящий синячище. Еще и с двумя парнями они чуть не посшибали друг друга с ног, отвешивая то смачные хуки справа, то пытаясь низвергнуть друг друга, физиономией уронив в жгучий песок.

Рассказчиком Гровер был настолько умелым, что я представлял в своем воображении всю его историю так, словно сам участвовал в той драке. Видел перед глазами толкающихся ребят в одежде темных цветов нарочито грязных оттенков, в шипованных ремнях и с дубинками в руках, с огромными ботинками на ногах и растрепанными волосами. Лица я их видел нахмуренные, с наморщенными лбами и кривыми улыбками, как будто все они разом проглотили лимонные дольки и запили все гадким тыквенным киселем. И черепа на их куртках вооб-

ражал, о которых твердил Гровер, и подвернутые джинсы, и даже мотоциклетные цепи, вертящиеся в руках рокеров, представил...

– Понимаешь, Чонси, они напали на нас, не разобравшись вообще, кто мы такие – моды, хард-моды, – сечешь? – говорил Гровер, руки его блуждали по затылку и не могли найти покоя из-за волнения. – Считают нас отстоями, тьфу! Да что они зна-а-а-ют! Рокеры эти... поди не шарят в нашей музыке, им все Элвиса подавай да других американских рок-н-рольщиков! Пускай наше, британское, ценят, а это что!..

Столь компетентная музыковедческая речь закончилась тем, что, сдвинув меня на ковер со своих колен, Гровер поднялся и включил проигрыватель. Поставил пластинку «роллингов»¹ (как он их называл) и пустился в пляс, покоряя вымышленную танцевальную площадку на ворсистом ковре. Босой, он кружился и притоптывал в такт музыке, кривлялся и взмахивал руками, как будто в стороны раздвигал невидимые лианы из джунглей. Я смеялся, перекачиваясь по полу, театрально бил по ковру ногами, затем вскочил и завертелся, как волчок, по комнате, подражая движениям брата.

Гровер заметно менялся. В первую очередь, конечно, изменения затрагивали внешность и одежду. Зачастую, он теперь возвращался домой то с новой порцией синяков и ссадин, то в лоснящихся рубашках из секонд-хенда, которые по дешевке брал у работавшей там знакомой, то, наоборот, с лоснящимися синяками и с новой порцией рубашек. Теперь старые отцовские ботинки, в силу своей растрепанности, были брату не нужны – он, как трофей, повесил их на шнуровку в своей комнате, прибив гвоздем к стене, а сам, заработав неизвестно где и неизвестно как денег, приобрел новехонькие ботинки. Сверкающие на свету и, казалось, отражающие на гладких чистых мысках само небо, Гровер налюбоваться ими не мог, называл их «мартинсами» и говорил, что обязательно и у меня такие будут. Я даже примерить их пытался, но утопал внутри, как в глубоких башнях.

С «мартинсов» все и началось... Со временем драки для Гровера перестали быть чем-то исключительным, он теперь часто важничал, а друзья одалживали ему скутер, – и вместо потасовок с рокерами, они предпочитали гонять по округе. Гоняли дни напролет, громили мусорные баки, распугивали рычащими моторами задремавших у обочин усатых котов и, заезжая на самую верхушку улицы, устремлялись с ветерком вниз, как с горки в вагончиках из парка аттракционов летели.

В одно замечательное воскресное утро, когда мы с мамой на кухне пекли пирог с джемом (вернее, пекла-то мама, а я лишь развозил по скатерти и доске узоры из муки и джема), Гровер явился домой с новой прической (сбрил виски, став почти лысым) и, вдобавок ко всему, – татуировкой на предплечье в виде нашего флага и надписью на нем: «MOTHER FREEDOM»². К маминой чести, она обошлась без нравоучений; привыкла, видать, к нестандартным поступкам Гровера и, запястьем утерев испачканный мукой кончик носа, лишь хмыкнула и сказала: «С пирогом поможешь, бунтарь?» Тут же сняв «мартинсы» и бережно, как при распаковке стекла, поставив их у двери, брат прошагал в кухню. Первым делом он потрепал меня по макушке, затем повесил на спинку стула джинсовую куртку с нашивками и принялся помогать с готовкой. Прежде, конечно, получил он от мамы укоризненный взгляд и недовольное фырчанье – это она так сообщала, что *кое-кто* руки помыть забыл. Я хихикал себе тихонько, глядя на лицо мамы, и продолжал месить тесто; хотя самому не терпелось как можно скорее пойти с Гровером гулять, чтобы он рассказал о своих новых приключениях. И так бросали мы друг на друга заговорщицкие взгляды, втихаря подмигивая, с нетерпением ждали, когда окажемся наедине друг с другом.

¹ The Rolling Stones

² Матушка Свобода (англ.)

Как бы Гровер ни устал – ведь всю субботнюю ночь он пропадал неизвестно где, – он даже не думал предаваться сну. Помогал маме по дому (пирогам дело не ограничивалось). Но главное, по нашей новой традиции, посвящал воскресенье в основном мне одному.

Чаще всего начинался этот особый для нас двоих день с того, что Гровер хватал меня за руку и сажал к себе на шею, – так мы и отправлялись на прогулку. Но прежде, пока брат переодевался и ополаскивал лицо водой, мама помогала мне влезть в широкие штанины с подтяжками и напяливала на меня футболку с легкой курточкой. Однако, стоило выйти за пределы дома, как Гровер садился передо мной на колени и кардинально менял мой облик: как всегда, взлохмачивал мои рыжие волосинки на макушке, подворачивал до колен штанины и расстегивал мою куртку, чтобы она свободно болталась и не стесняла движения.

И вот, сидя на шее брата и колдуя ручонками над его стриженной налысо головой, я в оба глядел по сторонам, рассматривая улицы, застроенные одноэтажными и двухэтажными коробочками, тесно примыкающими друг к другу. Где-то за низкими заборами виднелись миниатюрные сады – образцово салатный газон блестел под лучами солнца, а вереницы цветов по краю напоминали о том, что в мире существуют и другие краски. Кое-где назойливое жужжание газонокосилки отпугивало слетавшихся на кошачьи пометы мух, которые в своем назойливом жужжании могли дать фору сразу всем городским газонокосилкам. Зачастую, ни один автомобиль не попадался нам навстречу на узкой дороге, протянувшейся через весь квартал, и мы шагали прямо по желтой линии, проходили мимо почтовых ящиков, мимо ожидающих мусорщиков высоких контейнеров, мимо пожарных гидрантов и зевающих на крыльце домов собак. Номера домов либо скрывались за разросшимися деревьями, либо были указаны на таких крохотных табличках, что разглядеть цифры было просто невозможно. Жители максимально ценили неприкосновенность своих жилищ, и никто не хотел, чтобы его беспокоили без причины. Вместо номера дома обычно использовали его название. Дома у нас называли каким-нибудь особым словом, с некоторым даже вызовом, вроде: «Chloe House», «Green End», «Flower Terrace»³.

А вот наш дом как-то обходился без вычурного названия, хотя и различного номера тоже не было, – на ржавом гвозде справа от двери болталась железная табличка с лаконичной надписью: «Clifford's Place». Гровер как-то раз маркером хотел приписать между первой и второй буквами еще одну «а», чтобы получился «дворец»⁴, но не вовремя вернувшийся с работы отец выхватил у него маркер и прогнал с крыльца. Так что, остался наш дом просто местом, в котором пересеклись наши с Гровером жизни.

Гровер водил меня по улицам, открывая другие потайные места города, про которые, как мне тогда казалось, могли знать только настоящие любители приключений. Поначалу он показывал мне лишь наиболее безопасные, вроде заброшенного скейт-парка. Из парка был виден порт, где трудился наш папа, мы ложились прямо на рампы и могли провести там весь день. Прихватывая с собой книжки, брат читал мне вслух увлекательные истории, и сонный мир вокруг нас внезапно превращался в тот, другой, удивительный мир из книжки, а черные буквы с пожелтевших страниц плыли перед моими глазами. Он и меня учил читать; со временем меня уже было невозможно оторвать от мира сказок и приключенческих историй. Втайне от мамы, Гровер наизусть пересказывал мне страшные истории про Хэллоуин, Джека-Потрошителя, чудища Франкенштейна, красочно описывал похождения известных грабителей банков и мафиози; привил мне любовь к мистическим, детективным и фантастическим рассказам. Учил меня всему, что знал и любил он сам. Заканчивались такие «рассказывательные деньки» обычно в местной кафешке, куда Гровер заскакивал, чтобы купить мне ореховое мороженое с шоколадной крошкой и клубничный пудинг. И все это было нашей общей тайной, ведь мама

³ «Дом Хлои», «Зеленый край» («Край семейства Грин»), «Цветочная терраса»

⁴ Place (англ.) – место, palace – дворец. «Clifford's Place» – «Место Клиффордов»

строго наказывала Гроверу, чтобы не закармливал меня сладким и ни в коем случае *«не пугал ребенка всяким бредом про кровь, зомби и привидений»!*

– Ну, какую я сказку тебе читал? – хитро щурясь, на подходе к дому спрашивает меня брат.

– Про бобовый стебель Джека, – прикрывая кулачком рот, говорю я. Лицо мое выражает крайнюю степень таинственности, как будто я напроказничал и совершил что-то запретное.

– Так маме и скажешь. – Сдерживая смех, Гровер наслюнявленным большим пальцем оттирает каплю мороженого с моей щеки и заводит меня в дом. Мои подвернутые штанины он забывает спустить обратно, так же, как и лохматые волосы – пригладить на одну сторону. Именно поэтому, мама, сложив на груди руки, встречает нас у порога дома с невольной улыбкой. И каждый раз, показывая на меня, признает, обращаясь к Гроверу: «Твоя маленькая копия».

Мне было настолько привычно находиться в обществе брата, а после и в обществе его друзей, что я всегда чувствовал себя старше своих сверстников. Подражая Гроверу и его приятелям, вслушиваясь в их разговоры о вещах, какие детям знать было рано, а может и вовсе незачем, я потом невольно ходил на детской площадке походкой подростка, шаркая в мягких ботинках по песку. И все норовил взобраться на пластмассовую горку не как все по лестнице, а подпрыгнув и ухватившись руками за поручень на самом верху. Когда мне удавалось исполнить этот трюк без посторонней помощи, я воображал себя альпинистом, высоко-высоко на заснеженной вершине горы. Принимал горделивую позу, упирал руки в бока, и только потом плюхался пузом в горячий от солнца желоб и важно катился вниз, спускаясь с покоренной вершины.

Я все время вспоминаю Гровера, хотя в то время ничуть не меньше тянулся и к отцу. Мне безумно хотелось завладеть хоть каплей его внимания, когда он приходил домой. Но, уставший после работы, он брал из холодильника банку пива и плюхался на диван в гостиной. Просил не трогать его, и только маму к себе подпускал, и только тогда, когда она приносила ему тарелку с едой. Я хотел усесться к папе на колени и рассказать ему о наших с Гровером приключениях, но неизменно проигрывал конкуренцию шепардскому пирогу с фасолью и томатным супом. Пока папа уплетал свое любимое блюдо, в редкие моменты домашнего затишья и покоя мама устало улыбалась и выходила с сигаретой на крыльцо.

Отец всегда представлялся мне самым невозмутимым и самым угрюмым человеком на свете. Одно время я стал считать те редкие моменты, когда на его лице появлялась улыбка. Чтобы надежнее запомнить, каждой такой улыбке я посвящал отдельную розу, из числа тех кустовых роз, которые росли на миниатюрном островке земли возле дома нашей соседки, старушки Мэйбл. Увы, большинство роз так и остались незадействованными в моей тайной арифметике.

Но, иногда, крайне редко, отец не пропадал в порту или пабе, не пил, причмокивая, пиво, а проводил с нами часы своего досуга. То были по-настоящему торжественные для меня дни. Не важно, какой выдавалась погода – пасмурной или, наоборот, слишком жаркой, – папа брал корзинку с фруктами и сэндвичами, которую заранее приготовила мама, и отправлялся со мной на прогулку. Гровер неохотно плелся за нами. Казалось, брат не доверяет меня отцу, потому и сопровождает во время этих редких совместных вылазок из дома. А я любил хвататься за растянутые годами отцовские штаны и, как кролик – дружок кэрролловской Алисы – скакал рядом с ним. Мне нравилось, как папа поощрительно глядит на меня, будто считает взрослым – таким, впрочем, я себя и чувствовал.

– Вот гляди, сын, меня не будет рядом – тогда что? – сказал на одной из прогулок папа, словно собирался покинуть нас навсегда. Гровер тем временем с недовольным видом отошел в сторонку и в одиночку закурил у дерева. Мне начинало казаться, что они знают что-то такое,

о чем не знаю я. – Тогда папой для тебя будет Гровер. Бери с него пример, с ним уж точно не пропадешь. – Отец щурил глаза, когда говорил, словно пытался всмотреться в невидимое будущее. Руки его беспрерывно, едва заметно дрожали, а сам он неожиданно улыбнулся, показав пожелтевшие зубы. (Не забыть об очередной розе старушки Мэйбл!) Папа захрустел сочным яблоком из корзинки для пикника. Его слова заставили меня задуматься. Я невольно попытался представить – как это? Вот однажды, после работы в порту, он не возвращается домой, а уверенно шагает мимо нашего почтового ящика, мимо нашего дома, уходя все дальше и дальше. Словно он знает, что где-то там, вдалеке, его ждет что-то более радужное и приятное, нежели темно-серый остов нашего «Места» с кривой фамильной табличкой. Это предполагаемое отцовское знание относительно будущего неприятно поразило и встревожило меня. Я шумно сглотнул подступивший к горлу ком и насупись. Заметив мрачную перемену в моем прежде благодарном и радостном лице, отец потрепал меня по плечу, тем особым отцовским манером, который должен был вернуть мне спокойствие.

Тут же на моем плече оказалась и рука Гровера: затушив о подошву ботинка окуроч, в два счета приблизился он к нам, точно пытался заполнить своим присутствием тот пробел, который образовался в давящей тишине над нашими головами после пугающих слов отца. И брату отвлечь меня удалось сразу – смерив папу укоризненным взглядом, он вытащил из корзинки еще одно яблоко и сунул его мне руку. Кисло-сладкий вкус фрукта мигом вернул меня из необъяснимо тревожного будущего в настоящее. И это настоящее, несмотря на набежавшие на небо тучи, показалось мне вполне сносным. В этом настоящем вполне можно было жить, надеясь на то, что после туч всегда бывает солнце.

Впрочем, в нашей семье из-за пристрастия отца к алкоголю дни естественным образом и без прогноза погоды делились на «солнечные» и «пасмурные». Бывали дни, когда домой с работы он возвращался хоть и поздно, но в хорошем расположении духа. Бывало и так, что приходил он с разбитыми костяшками пальцев на руках, а то и шишкой на лбу, но трезвый, веселый и довольный собой. Садился за кухонный стол, добродушно бил кулаком по своему колену и говорил маме: «Кейтлин, какие же вкусные у тебя супы выходят. Сделай-ка мне порцию, да погуще!» Понятно было, что отец с кем-то подрался в порту или в пабе, но сиял от счастья, победил, значит. Быстро спускаясь со второго этажа, я вприпрыжку летел на кухню – где папа встречал меня крепким объятием, прислоняясь колючими волосками отросшей щетины к моей щеке.

– Ну что, сынок, – говорил он, – чему там тебя Гровер приучает в мое отсутствие? – До того, как на столе оказывалась порция густого супа, я успевал протараторить свои незамысловатые истории о том, как брат разыгрывал для меня театральные сценки по прочитанным сказкам. Но благоразумно умалчивал, как он катал меня на скутере, и как нечаянно мы наехали на соседскую клумбу...

Противоположные спокойным дням, «дни забвения», как называл их Гровер, словно помещали между мной, братом, мамой и отцом бетонную стену, через которую до него было не достучаться: он пил на убой и ложился спать, пристраиваясь прямо на полу.

Еще одной напастью была отцовская страсть к игре, когда он засиживался после работы в пабе, растрачивая азарт свой направо и налево. А затем, проиграв все, вплоть до запылившейся в кармане мелочи, и даже кое-что из одежды, агрессивно настроенный, возвращался домой. Он возвращался не к нам, а к своему любимому кухонному шкафчику, в котором хранилось спиртное. Скидывал на ходу ботинки, а руки его уже тянулись за безотказным бутылочным лекарством от неудач.

Что после своих неудач в карточной игре он никогда не позволял себе делать, так это поднять руку на маму или на нас с братом. Ни разу он нас не ударил, хотя зубы его скрежетали, а кулаки яростно сжимались – от гнева на самого себя. Все ограничивалось бессвязными выкриками, словно он пытался криком выплеснуть из себя всю ту грязь, что свалилась на него

за всю его жизнь. Этот отцовский ор неизменно будил дремавших в кустах за домом бродячих котом, и они со всем своим кошачьим энтузиазмом начинали орать вместе с ним. Когда я вырос, долго не мог понять поговорку: «Орут как мартовские коты». В моем представлении коты должны были орать в любое время года в ответ на папины крики.

Я уже не говорю о том, как на пустом месте отец срывался и кричал на маму. Мама, очевидно, прекрасно понимала скрытую за показной агрессией отцовскую неуверенность в себе, и моментально, только ей одной известным образом выпроваживала отца с кухни в гостиную. Удивительно, но он беспрекословно слушался ее и, принимая собственное поражение, с опущенной головой плелся к дивану.

Когда отец напивался, мама вообще не пускала его ночевать в их спальню. Для меня было привычным видеть распластавшегося на заплатачном диване отца с задранной на животе потной футболкой, и даже его громкого зубовного скрежета, пробивающегося сквозь его же храп, я не боялся. Правда, и Гровер старался всячески отвлечь меня, если отец набирался и засыпал в гостиной.

Как-то раз я выскользнул ночью из комнаты, миновав дремавшего с раскрытой на груди книгой Гровера, бесшумно пробрался вниз и услышал доносящиеся с кухни всхлипывания. Чуть выглянув из-за угла лестницы, я увидел, что мама стоит, облокотившись на раковину, и плачет. Эта картинка навсегда врезалась в мою детскую память. Она стояла спиной ко мне, несмотря на всхлипывания, голова ее была чуть приподнята – она смотрела на пробивающийся свет фонаря сквозь прорезь меж занавесками. В кромешной тиши, будто все звуки в мире вдруг прекратили свое существование, моя мама едва слышно плакала. Мне сразу же хотелось сбежать с лестницы и обнять ее, но раздавшийся слева от лестницы, в гостиной, звук отцовского храпа заставил меня остановиться.

Я замер, медленно переводил взгляд с отца на маму, плачущую у раковины, и тогда я ощутил какое-то новое для меня тягучее чувство, разрастающееся внутри то ли живота, то ли грудной клетки, – и я крепче ухватился за перила. Хотя я не до конца осознавал, почему взрослым свойственно столь непонятное для меня поведение, вслушиваясь в звуки слез и пьяного храпа, я впервые связал их воедино.

И подбежал к маме.

От неожиданности она подскочила и второпях принялась вытирать пальцами заплаканные глаза, а я прижался к ее животу и обнял так крепко, насколько мог.

– Гровер сказал, что мы должны защищать тебя, – прошептал я, утыкаясь головой в пропахший кухонными ароматами фартук. Удивительно, но несмотря на весь драматизм этого момента, я отчетливо помню, что фартук пах томатным соусом, который мама готовила накануне. Задрал голову и посмотрел прямо в мамины глаза. Шмыгнув носом, она улыбнулась и присела на колени, прижав меня к себе.

– Все в порядке, милый, – сказала мама, а потом произнесла слова, которые я повторяю всю жизнь: «Он может проигрывать что угодно и сколько угодно. Но ему не проиграть вас с Гровером, запомни это».

Незадолго до моего пятого дня рождения, в тот день, когда все пошло наперекосяк, было пасмурно, и туман смыл все дома напротив нашего «Места». Я стоял у раскинувшего когтистые ветви куста, облокотившись на низкий расшатанный забор, и представлял, как какие-нибудь монстры, собравшись в кучу, из своих громадных глоток выпускают пар – который и становился туманом. Представлял, как соседские семьи пытаются выбраться из своих домов, но не могут, поглощенные белесой дымкой из пастей великанов. Представлял и сам настолько погрузился в свои фантазии, что не заметил, как пальцы мои непроизвольно тянутся к кусту и отрывают один за другим маленькие жесткие листочки. И тут какое-то ужасное предчувствие

стиснуло низ живота, сердце мое замерло, и сам я замер, напряженно вслушиваясь в опасную тишину, но ни одного звука не доносилось из-за туманно-хлопковой стены.

И вдруг – хлопок дверью и глухой удар о землю, сердце мое ответило бешеным ударом, затем хлопок и удар повторились, сердце опять в унисон два раза грохнуло, и тут же послышались сердитые голоса прямо за моей спиной, с крыльца нашего дома. Дернувшись, я и обернуться не успел: ко мне откуда ни возьмись подбежал Гровер и, в спешке закинув меня к себе на плечо, потащился в неизвестном направлении – через ту самую дорогу, преступив ограничительную линию которой мы оказались прямо в туманной власти монстров.

Возле автобусной остановки Гровер опустил меня на землю и взгромоздил на свою спину большой полуоткрытый рюкзак, который все это время был у него в руках. Рюкзак был набит до отказа скомканными вещами и музыкальными пластинками, которые норовили вывалиться из не застёгнутого отделения. Было件нятно, что брат собирал вещи второпях, да и вел он себя нервно, постоянно отирал пальцами губы, как будто коснулся ими чего-то грязного, переминался с ноги на ногу, мысками «мартинсов» поддевая асфальт. Посмотрев наконец на его лицо, я заметил неестественно красные щеки и вытекающую из его носа тоненькую красную струйку крови. Впервые я видел его таким всклокоченным. Казалось, сейчас он взорвется, и я испугался, но не за брата, а за пластинки, которые представлялись мне тогда величайшей ценностью.

Я молчал. Ни на шаг не отходя от Гровера, стоял и, нахмутив брови, глядел на него, ожидая хоть каких-то слов, которые успокоили бы меня. Гровер же внезапно задрал голову к небу и шумно выдохнул, мелкие капельки крови разлетелись по сторонам, точно сказочный дракон полыхнул огнем из пасти.

– Скоро приедет наш автобус, – глядя в небо, сказал он. – Что-то новенькое, а? – Его голос внезапно задрожал, хоть он и пытался скрыть волнение под напускным спокойствием. Опустив голову, Гровер наконец обратил свой взгляд на меня и слабо улыбнулся уголком рта, ухмыляясь чему-то, хотя глаза его были полны не веселья, а тоски. Приблизился ко мне и, чуть нагнувшись, перекинул свою сильную руку через мои плечи и прижал к себе, как если бы боялся, что я вынырну из-под его хватки и бесследно растворюсь в белом облаке тумана.

– Где мама? – спросил я, губы мои, казалось, от волнения скрипели, как скрипела у нас дома половица – предвестница беды. Накинутая поверх моих плеч джинсовая куртка несколько не согревала – наоборот: то самое ужасное предчувствие, поднимающееся ноющей болью из моего желудка, распространялось ознобом по всему телу, и на мгновение показалось, что эта боль сейчас разорвет меня, и я просто исчезну в тумане, но, скрестив руки наподобие обруча, я сообразил обхватить себя за живот и так держал сам себя изо всех сил.

– Не волнуйся, она придет за нами, – стараясь держаться уверенно, ответил брат. Пнув мыском мелкий камушек, он тяжело вздохнул и вновь утешительно потрепал меня по плечу. Ветер усиливался с каждой минутой, отсыревший воздух вместе с ключьями тумана забивался в легкие, и я съежился, стараясь унять дрожь и по-прежнему на всякий случай крепко сжимая живот руками. Гровер, видя, как я скукоживаюсь, стал растирать мои плечи все сильнее, с остервенелым отчаяньем пытаюсь согреть меня, но безуспешно.

– Куда мы?.. – Я вновь поднял глаза на брата и напряженно сощурился, как будто хотел каким-то чудом разгадать ответ. Однако ответить он не успел. За нашими спинами раздались шаги, обернувшись, в тумане я увидел маму. Она волочила за собой по влажному асфальту большущую сумку на колесах, пыхтя и от напряжения стискивая зубы, едва перебирала уставшими ногами в балетках на низком каблуке. Она действительно пришла за нами, как и обещал Гровер.

Только когда мама подошла к нам вплотную, и Гровер мигом выхватил из ее тонких, но невероятно сильных рук тяжелую ношу, я увидел ее глаза – они были наполнены слезами, отражавшими безграничную пустоту улиц.

Тыльной стороной ладони вытерев глаза, мама обменялась с Гровером торопливым шепотом, из которого я не расслышал ни слова, а затем, наконец, одарила меня вселяющим надежду взглядом. Окончательно сморгнула слезы, точно их и не было вовсе, и, едва шевеля губами, коснулась ими моего затылка: «Я все тебе объясню, малыш, обещаю. Дай мне немного времени». Я не знал, сколько надо дать маме времени, потому просто стоял, хлопая глазами, терпеливо ждал, переводя взгляд с мамы на брата и обратно с брата на маму. Так прошло несколько минут и, внезапно я понял, что никто не собирается мне ничего объяснять, мы просто ждем приезда автобуса. Но, с мамой мне стало спокойней, и я стал разглядывать серые облака. Витиеватыми узорами расплываясь по небу, они, гонимые порывами ветра, сбивались в одну сторону и неслись сквозь хладно-солнечные просветы куда-то вдаль.

Наконец, издали зажужжал мотор автобуса, звук приближался, пробивая туман, пока не превратился в громкое урчание совсем рядом. Автобус остановился, водитель открыл двери и закурил прямо на своем водительском сидении, выдыхая дым в приоткрытое окно. Пришлось мне оторваться от разглядывания небесных рисунков.

– Идем, – сказал Гровер, махнув мне рукой, и мама пропустила нас вперед. На первой ступени автобуса, заскрипевшей металлическим треском под ногами, я остановился, озираясь назад – на раскидистый кустарник орешника, за которым, если свернуть и пройти вперед ровно тридцать девять больших шагов Гровера, покажется наш дом, «место» Клиффордов, которое уже никогда не станет дворцом. Губы мои сжались в плаксивую линию грусти, руки опустились, – все тело вмиг обмякло, будто я потратил последние силы на то, чтобы удержать свое тщедушное тело от исчезновения.

«Почему мы оставляем дом, куда едем, – думал я. – И куда девался папа?»

Ласково взяв меня за руку, мама провела меня вовнутрь автобуса и усадила на одно из пропахших бензином сидений. Гровер молча уставился в окно, когда водитель, наконец, выбросив из окна окурки и, захлопнув двери, нажал на педаль газа. Автобус тронулся в путь.

Вслед за нами полетело гудение ветра. Островки тумана пытались посоревноваться в скорости с колесами автобуса, отчаянно цеплялись за них, но оставались позади, паровые монстры словно выпускали нас из своих сетей, отворяя невидимую дверь из белесой мглы перед нами.

Остатки сил покинули меня, и я погрузился в спасительную дремоту. Не помню, сколько мы ехали и где вышли из автобуса, но хорошо помню, как топчусь на изрытом червями куске земли. Руки в карманах куртки, я перебираю пальцами топорщащиеся из джинсовых стежков нитки и гляжу прямо перед собой – на слепленные из металла и пластика трейлеры, сдувшимися колесами впившиеся в грязевые лужи. Раскрытая дверца одного из них – из-за заржавевших и изношенных петель – болтается и назойливо скрипит каждый раз, когда налетает порыв ветра. Шелестят листья на деревьях, бродячий пес пробирается по своим делам, мягко перебирая лапами, и мне кажется, что лапы тоже шелестят.

Передо мной расположен целый квартал, состоящий из домиков на колесах. Они совсем не похожи на наш прежний дом, да и вообще не похожи на дома, скорее – на увеличенные копии старомодных машин, которые разъезжали в любимых маминых черно-белых фильмах. Отныне одна из таких машин будет нашим с мамой и Гровером жилищем. Как в сказке – думаю я – сели они в автобус и поехали неизвестно куда, неизвестно зачем. Потом сошли они с автобуса и оказались здесь. Только на этот раз они – это мы, в новом нашем месте, о котором мне ничегошеньки не было известно. Гровер упомянул только, что один из его знакомых предложил перекаптоваться в трейлере с примитивными удобствами, пока не найдется чего получше.

В этом новом месте нас ожидает какая-то неведомая новая жизнь. Эта мысль меня развеселила, хотя от усталости я еле ногами перебирал, хватаясь за штанину Гровера. Наконец мы подошли к неприметному трейлеру, чуть скосившемуся набок, рядом с которым примостился пожарный гидрант. Гровер поставил на землю сумку и, играя роль приветливого хозяина, усадил маму на жалкое подобие скамьи в виде валявшегося неподалеку ящика. Он сбросил с плеч

рюкзак, достал из кармашка несколько скомканных купюр и подошел к долговязому мужчине, который стоял рядом с трейлером. Обменявшись с моим братом рукопожатием, тот кивнул в сторону двери, потом, по-дружески перебросив через сутулые плечи Гровера свою волосатую руку, незнакомец завел его в трейлер. До нас с мамой доносились отдельные слова, судя по всему, долговязый устроил Гроверу ознакомительную экскурсию по нашему новому дому.

Пока длилась эта экскурсия, мама вынула из кармана своей рубашки пачку сигарет. Губами она ловко ухватилась за кончик сигареты, но, чиркнув несколько раз зажигалкой, вдруг обессиленно опустила руки и резко выплюнула сигарету, которую тут же подхватил ветер и унес в мир потерянных вещей. Вздохнув, мама обхватила колени руками, и я решил, что она, подобно мне, боится разлететься на кусочки и исчезнуть без следа. Поэтому подбежал и крепко обнял ее, помогая удержаться на этом свете.

Я хотел о многом сказать ей, но еще больше хотел спросить. Над нашими головами прошмыгнул крупный ворон; взлетел на ветку, облепленную махровой зеленью времени, и принялся глухо каркать, взывая к своим собратьям, а может просто объявляя о нашем прибытии. На его карканье откликнулся все тот же бродячий пес. Он вынырнул из-за угла трейлера и подошел к нам. Беспородный, с облезлой мордой и торчащими вверх ушами, он отчаянно вилял коротким хвостом, приветствуя нас от имени всех обитателей этого колесного царства. Хвост в темно-шоколадную крапинку разительно отличался по цвету от туловища, которое являло целую гамму оттенков: от заварного крема до цвета дорожной пыли. Завершив приветственную церемонию, пес стал обнюхивать шнурки на моих башмаках, шумно хрипя и шмыгая мокрым черным носом, – я даже ощущал, как дыхание из его больших ноздрей проходит через дырки для шнурков и щекочет мне ноги.

– Ш-ш, – прошептала вдруг мама, выглянув из своего непрочного убежища, скрепленного нашими руками. – Ну-ка, иди сюда.

И карамельно-песочный пес поспешил на этот зов, как будто он всю свою жизнь ожидал именно нашего приезда, и тут же уютно что-то засопел на своем собачьем языке, рядом прилежался, распластавшись у наших ног, охраняя нас с мамой.

– Он, наверно, потерялся, – предположил я, утыкаясь головой в мамино плечо. – Он ведь совсем как мы, да? Мы же тоже потерялись? Он бродяга, как, – я запнулся, отпустил маму и схватился руками за голову, вспоминая имя смешного киношного человечка в котелке и с шевелящимися усами. – Как Чарли Чаплин!

Букву «р» я совсем недавно научился выговаривать правильно, и каждый раз испытывал ликование от ее звучания – р-рр-р.

Пес приподнял морду и с удовольствием поддержал беседу: «Р-рр-р».

– Чар-рр-р-ли! – повторил я.

– Р-рр-р, – согласился пес.

Мама рассмеялась. Потом, приподняв за подбородок мое лицо, посмотрела мне в глаза. Ее глаза больше не казались стеклянными – они ожили, загорелись от маленькой порции счастья, бесплатно раздавать которое с рождения обучены все собаки.

– Да, милый, мы потерялись, но... теперь нашлись. И совсем скоро обретем новый дом. – Она взглянула на трейлер, из которого доносился приглушенный голос Гровера. – Конечно, это не похоже на дом, скорее на рухлядь, но... мечтатели никогда не пропадут. Что бы ни случилось, мы вместе. Значит, и все остальное будет.

Пес внимательно выслушал маму, одобрительно помахал хвостом и вновь улегся у наших ног.

От маминых слов мне стало спокойно. Рядом валялись наши вещи из прошлой жизни – рюкзак брата, сумка на колесах, объемный пакет. Внезапно раздалось хлопанье крыльев, к ворону, который продолжал настойчиво переговариваться с собратьями, прилетела пара дружков, таких же черных и вальяжных.

– А ты знаешь про старинное поверье? – спросила мама. – Пока в замке Тауэр живет хотя бы один ворон, королевской семье ничего не угрожает.

И я счастливо засмеялся:

– Ты, мама, – тоже королева! Пока здесь живет ворон, нашей семье тоже ничего не угрожает!

Пока не вернулся Гровер, мы в обнимку с мамой сидели и смотрели на все это – на удивительные дома на колесах, которые теперь казались мне диковинными замками, на густые заросли кустарников, похожих на выросших до несуразных размеров ежей, на расставленные там и сям мусорные ящики, привлекающие воронов.

Хлопнула дверь, хозяин трейлера попрощался и ушел, и Гровер присоединился к нашим теперь уже тройным объятиям. Как самому маленькому, мне было жутко неудобно дышать им в животы, к тому же я не любил, когда меня слишком сильно прижимали и тискали. Но, то ужасное чувство тревоги, которое я испытал на автобусной остановке, окончательно исчезло. И новая надежда, пускай не высказанная, но столь сильно ощущаемая нами, сближала и объединяла.

– Прощу! – сказал Гровер и шутливо поклонился, указывая нам путь к двери.

Первые шаги к нашей новой жизни в нашем новом автомобильном доме навсегда запомнились мне этим непривычным чувством семейного единения.

И мы шагнули в новый дом, ощущая себя пока еще его гостями, а не хозяевами. И только пристроившийся сзади пес вполне по-хозяйски гавкнул, спугнув восседавших на дереве хмурых стариков-воронов.

Про отца я так и не осмелился спросить. Меня удерживало ощущение какой-то тайны, связывающей маму с братом. Что-то невысказанное в маминых глазах, как и в глазах Гровера, что-то спрятанное глубоко внутри, о чем они договорились молчать. О чем мне, возможно, никогда не суждено узнать.

Надо сказать, с новым местом жительства я свыкся очень быстро. Мама была рядом, Гровер был рядом, что еще надо пятилетнему малышу. А вот отца не было, и понадобилось довольно много времени, чтобы я понял: его с нами больше никогда не будет. Конечно, я не мог не заметить, что папы с нами нет вот уже какой день кряду, но меня это беспокоило мало, по крайней мере, по сравнению с другими удивительными изменениями в нашей жизни. Давно привыкнув к редким появлениям отца дома, я как обычно списывал его отсутствие на сверхурочную работу. А может быть – как знать – он совершал очередное путешествие по пабам нашего города без захода в домашнюю гавань.

В силу того, что находиться долго в трейлере не мыслилось возможным – из-за спертого воздуха и маленького помещения с узкими проходами и запыленными шкафчиками, – по настоянию мамы Гровер уводил меня гулять, пока сама она вычищала добела наше новое жилище и выметала вон из мини-холодильника букашек-таракашек. Мы брали легкий перекус и отправлялись гулять, совершая все более дальние вылазки. И вот, как-то раз, запасшись шоколадными батончиками и прихватив под мышку книгу в коленкором переплете с золотым тиснением, брат повел меня на набережную, откуда открывался чудесный вид на пролив и громоздкий маяк в красно-белую полосу. На переливающуюся янтарным светом заходящего солнца воду мягко садились чайки. Легкие волновые изгибы моря превращались в лоснящиеся складки шелкового веера, и маяк, казалось, лениво обмахивался этим веером. Приземлившись поодаль от маяка на одну из лавочек, Гровер протянул мне батончики и, смеясь, подергал меня за ухо. Я начал жевать шоколадные конфеты, изучая причудливые рисунки и надписи, вырезанные по всей длине лавочки. Особенно поразил меня череп с костями, исполненный таинственным художником с необычайной выразительностью. Гровер открыл книгу и принялся было читать мне очередную историю про чудесные небывалые миры. Только я остановил его.

Гровер попытался вновь читать, но я дернул его за руку так, что он с удивлением посмотрел на меня и отложил раскрытую книгу на колени.

А я скрестил на груди руки и, наконец, выдохнул тот вопрос, который должен был задать гораздо раньше:

– Где папа?

И вдруг Гровер поник. Щеки его посерели, он закрыл книгу, снова открыл и так и положил открытую рядом с собой на лавочку. Брат провел рукою по затылку, приглаживая свои торчащие волосы, коряво закинул ногу на ногу, но по-прежнему молчал.

– Расскажи мне. Папа обидел маму?

Гровер отрешенно смотрел на маяк, потом полез за сигаретами в карман джинсов, но спохватился, потому что никогда не позволял курить себе рядом со мной.

– Можно и так сказать, – спустя несколько минут ответил он. Насупись, сплюнул на траву и начал потирать ладони друг о друга, как будто внезапно замерз. Я же смотрел на него, не отрываясь, нахмурившись, и демонстрировал всем своим видом, как я на него обижен. И на маму тоже обижен, и на этих противных чаек, и на весь мир заодно, потому что абсолютно никто не признавался мне в том, что же стряслось. Но, отступить я не собирался.

– Помнишь, папа любил в картишки перекинуться? – наконец, спросил Гровер. – Так вот... он играл на деньги и... так вышло, проиграл наш дом. – Гровер умолк. Его кулаки непроизвольно сжались, а глаза сузились от злости. – Мама очень долго прощала папе все его закидоны, но на этот раз разозлилась. Она очень сильно разозлилась, понимаешь? И им пришлось разойтись. Пойми, Чонс, папы с нами больше не будет. Я не знал, как тебе об этом сказать, ты ж ведь еще слишком мал...

– Нас, зато, он не проиграл! – перебил я брата. – Мама говорила, нас он никогда не проиграет.

– Что?.. – Гровер опешил. Потом взгляд его смягчился, он опустился на колени перед лавкой и крепко обнял меня, прижав к своей груди. Я ждал, что он мне ответит, но он молчал. Я отчетливо слышал его порывистое дыхание и биение его сердца. Мы как будто застыли, два изваяния, ожидающие у маяка лодок с моря, только вот никто не собирался к нам возвращаться.

Я не заплакал.

Внутри меня по-прежнему шевелилась обида, казалось, еще чуть-чуть, и она вырвется из меня слезами.

Я не заплакал.

Я вспоминал отца – такого, каким я чаще всего видел после работы: с его особенным запахом кирзы от рук и куртки, пиратским прищуром и хриплым голосом, смугловатым от портовой копоти лицом.

Я не заплакал.

Никакой обиды я на отца не таил. В тот момент, сидя в обнимку с братом, я ощущал, как обиду внутри меня заменяет злость. Злость прогнала подступавшие слезы. Злость на отца за то, что сотворил такое с мамой. И с Гровером. И со мной.

Злость – вот что меня целиком захватило.

Я так и не заплакал. Коричневые сумерки начали напоздать с моря на маяк, на набережную, и наша лавочка превратилась в лодку, которая должна доставить нас с братом домой. Свет от маяка показывал дорогу кораблям, свет наших окон укажет нам дорогу домой.

– Пойдем, мама заждалась нас, – сказал Гровер, поднявшись на ноги, и посадил меня к себе на плечи.

Ночью мне приснился сон. Я плыву на большом корабле по бескрайнему морю и вижу отца в другой лодке, плывущей мне навстречу. Он удит рыбу, ловко снимает ее с крючка и бросает добычу в ведро. Я кричу ему, зову на помощь. Он оборачивается, видит меня и протяги-

вает руку, в которой держит пойманную рыбу. Я пытаюсь схватиться за рыбу, но в последний момент отец бросает рыбу в ведро, и моя рука повисает в пустоте. Наши лодки проплывают мимо друг друга и расходятся все дальше и дальше.

Проснувшись утром, я вспомнил сон и понял: папы больше не будет рядом. Но еще долго притворялся сам перед собой, будто отец просто ушел на работу и задержался там на неопределенно долгий срок. Притворяться мне было привычно, поэтому на новом месте все представлялось в моем воображении почти как в прежней нашей жизни. Но, жизнь приняла совершенно другой оборот.

Маму одолела депрессия (это новое слово я узнал от Гровера), что весьма плачевно сказалось на ее здоровье и привело к частым перепадам в настроении. После того, как отец лишил нас дома, ее всегдашняя стойкость и выдержка стали изменять ей. Она по-прежнему много курила, выскивая в местных магазинчиках самые дешевые сигареты. Дымила она на крохотной кухоньке, и наш кемпинг вечно был облачен в мантию из сигаретного дыма. Открывая нараспашку окна, Гровер проветривал тесное помещение, чтобы не задохнуться, выбрасывал в мусорник на улице переполненные пепельницы.

В новом доме я придумывал себе новые игры. Часто лазил по трейлеру, по застланному циновкой полу, пытаясь отыскать клад в немногочисленных шкафчиках и ящиках, содержимое которых уже знал наизусть. И все равно верил, на этот раз клад точно будет! Проверяя разные потайные уголки, я постепенно подбирался к футому (который, как объяснил мне Говер, сделали специально для нас в Японии). Клад был точно под матрасом, но на нем дремала мама, и я разочарованно вздыхал, ложился рядом, водил пальцами по ее рукам, по вздутым от работы и возраста венам. Мама часто начала спать днем, распластывалась по матрасу, или сворачивалась в клубок и поджимала колени. На тумбочке рядом с футом появились пачки таблеток, которых становилось все больше. Гровер говорил, чтобы я ни в коем случае не совал свой любопытный нос в содержимое маминых таблеточных упаковок; и я слушался: только издали разглядывал разноцветные пилюли, точно миниатюрные капсульные бомбочки, – хотя искушение потрогать, попробовать на вкус и раздавить меж пальцев – было велико.

Гровер взял на себя хлопоты по дому, бегал за покупками в бакалейную лавку и булочную, даже осваивал приготовление обеда. Я брал пример с него, подметал полы в трейлере, делал для мамы чай, а когда она дремала, бережно расчесывал ей волосы, ловко обращаясь со специальной щеткой. И буквально вытаскивал ее за руку на улицу, чтобы, сидя на ступенях трейлера, она хоть немного подышала свежим воздухом.

Наши старания не пропали даром. Мама начала улыбаться, обнимала меня так крепко, словно инстинктивно искала защиту от напастей и, целуя меня в висок, шептала, что очень виновата перед нами и обещала: скоро она придет в норму. И к нормальному состоянию она действительно начала возвращаться. На ее бледном лице, на скулах и под глазами, стали расцветать яркие веснушки, что всегда во время болезни было признаком маминого скорого выздоровления. Возможно, поспособствовала и новая микстура, которую мама начала регулярно принимать три раза в день. И, наконец, она устроилась на работу в кондитерскую лавочку. Заведовал там какой-то шотландец – он-то и согласился взять ее на место кассира-продавца без испытательного срока. От маминых платьев теперь пахло фруктовой сладостью – но я не мог различить, что это за запах. Ни персик, ни клубника, ни цветочная пыльца, ни коричневое печенье. И даже ни медовая патока! Я без конца вдыхал этот запах и представлял себе разные вкусы.

После работы мама бралась за свои привычные домашние дела, мыла сверху донизу наш трейлер, готовила, а главное делала все это под музыку – включала на всю громкость радио и, чуть виляя бедрами, пританцовывала с тряпкой в руке или у кухонной плиты, тихонько подпевала мелодиям своих любимых «битлов».

Гровер приходил домой поздно. Он, что потом выяснилось – как всегда мне обо всем поведали последним – бросил школу и ушел работать на рыбный завод неподалеку от порта, чтобы помочь маме прокормить семью. Мы едва концы с концами сводили, денег оставалось катастрофически мало, а мамина работа в кондитерском магазине не приносила достаточного дохода. Бурчал брат что-то себе под нос, подсчитывал, уводил, бывало, под локоть маму на улицу, чтобы поговорить о чем-то важном, не предназначенном для моих ушей. А потом вдруг Гровер улыбался весело и беззаботно, совсем как прежде, и мы носились с ним по округе или играли в прятки. Тогда мир мне казался небольшим и чудесным, и хотелось собирать его по кусочкам, словно пазл из солнечных деньков, маминых улыбок, наших игр, рассказов Гровера. Я жадно впитывал в себя эти рассказы, желая узнать об этом мире все и сразу. Надо было запомнить кучу важных вещей: наименования звезд, таящихся где-то далеко в небе, дорогу в магазин, марки автомобилей, выучить все песни, которые нравились брату, и научиться считать до ста.

И желание мое учиться сбылось, как только я стал достаточно взрослым – (как ни крути, пять годков уже не шутки, и я считал себя вполне взрослым) – да взяли меня в начальную школу Плимута.

Друзьями я обзавелся быстро, стоило продемонстрировать мое фирменное приветствие – плюнуть на ладонь, провести ею зачесывающим движением по голове, и поочередно протянуть руку разевающим рты одноклассникам. Ко мне, причесанному руками брата (он продолжал забавляться с моим рыжим хохолком) и от пяток до этого самого хохолка нашпигованному запасом *крутых* словечек, с любопытством подтягивались мальчишки на раз-два. А девчонки, девчонки с показной скромностью так и вились недалеко от моей парты, хлопали своими пышными ресницами и хихикали, подслушивая, как я с гордым видом рассказываю ребятам о хард-модах. Когда я стал по-настоящему взрослым, мне попала статья Криса Уэлча, которую он в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году написал для «Melody Maker»⁵: «Быть хиппи – значит быть выпускником средней школы и быть в состоянии читать тонну макулатуры. Быть модом – значит иметь пару тяжелых ботинок». Но тогда, в моем пятилетнем сознании, чтение книжек и тяжелые ботинки были одинаково привлекательными.

Джоэл и Гарри – они стали моими закадычными друзьями, – едва слюнями от восторга не захлебывались, когда я пообещал, что дам послушать им такую музыку, какую они ни разу не слыхивали, и свожу их прогуляться по таким местам, куда они без меня не попадут никогда в жизни! Худощавый Гарри от волнения пальцами хрустел, потом старательно дышал на свои очки и протирал их краем футболки, напяливал на нос и завороченно смотрел на меня, внимая каждому моему слову. Толстяк Джоэл, наоборот, отвлекался на любую мелочь, одним ухом слушал меня, в другом – ковырялся мизинцем. Закончив с ухом, морщился и раскрывал рот в беззаботной улыбке, сверкая цветными брекетами, из которых он постоянно выковыривал кусочки застрявшей еды.

Если есть друзья, значит, есть и враги.

– Все он врет, этот Клиффорд, все он врет! – так обычно, озлобленно и сварливо отзывался Сэм Данкин по поводу моих рассказов. Густоволосый и полнощекий, с гордо вздернутым подбородком, он ухмылялся и бросал на меня презрительные взгляды. Знать не знаю, чем это я не угодил ему; по какой причине он невзлюбил меня с первой же встречи, но из-за его насмешек у меня в глазах от злости двоилось. Я эту злость внутри не держал, выпускал наружу, и мы сцеплялись в клубок, пытаясь завалить друг друга на пол. Подножки друг другу ставили, вопили от восторга каждый раз, когда соперник грохался оземь. Сэм перед началом схватки любил оскалиться, словно настоящий обозленный тигр, выпячивал вперед свой гордый подбо-

⁵ Старейший в Великобритании музыкальный еженедельник, основанный в 1926 году. Крис Уэлч – один из первых журналистов, которые всерьез стали писать о рок-музыке.

родок и закатывал рукава рубашки до локтей. На меня эти приемчики не действовали, поправив хохолок на голове, я без оглядки бросался в бой.

Помню, как во дворе школы уселся я на пожелтевшем прямоугольнике травы и, высунув от усердия язык, накопал из земли букашек, которых и подложил потом в парту Данкина. Как же вопил Сэм, как же перекопилось его лицо от отвращения, когда полез он в парту за тетрадкой, а по его руке поползли шустрые многоногие насекомые. Вопль моего заклятого врага поднял звуковое цунами в классе – девчонки кричали вместе с ним и разбежались в разные стороны, – в то время как я, предварительно шлепнув ладонью по рукам Джоэла и Гарри, вскочил на стул и хохотал от переполнявших меня чувств.

– Кайл Чонси Клиффорд, немедленно выйди отсюда! – в гневе голосила наша мисс Одли. Ее синие глаза, вспыхивающие яростным огоньком от злости, на фоне бледного лица казались мне пятнами с павлиньего хвоста. Голоса ребят стихли, все в одночасье повернули головы на молодую учительницу. Я покорно вышел из класса с опущенной якобы от стыда головой, а у самого на губах играла победная улыбка.

– Подумай над своим поведением, и чтоб через десять минут вернулся в класс, проказник! – Летели вдогонку грозные слова нашей кудрявой мисс.

Но, я и не думал возвращаться на урок, дожидаясь в укромном уголке дребезжащего звонка, после которого хлопала дверь класса, и раздавался топот каблучков мисс Одли – этот звук означал свободу.

Мы вышли из школы и на перекрестке улиц совершили с Джоэлом и Гарри наш традиционный замысловатый ритуал прощания, в ходе которого хлопали друг друга по рукам и стукались кулаками. Домой я возвращался перепачканный и с синяками на коленках. Блейзер школьной формы сидел криво, воротник белой рубахи дыбом топорщился и измазался грязью, полосатые гетры на ногах съехали вниз.

Вот в таком виде я и появился на пороге нашего трейлера. Стучать в дверь мне даже не пришлось, брат распахнул ее передо мной и насмешливо присвистнул:

– У вас уроки в луже, что ли, проходили? Ты, Чонс, что творишь?

Сам он выглядел как настоящий хард-мод: обстриженная почти наголо макушка, от висков темнеющие рыжеватые полоски – бакенбарды, тянущиеся до скул. Одет в рубаху, заправленную в джинсы, и, конечно, на ногах высокие тяжеленные ботинки.

От брата несло запашком рыбы, отличительная черта всех, кто работал на рыбном заводе.

– Повезло тебе, что мама еще из кондитерской не пришла, а то б задала тебе, ха!

– А я сегодня устроил Сэму взбучку, – на одном дыхании гордо выпалил я. – Ну, подумаешь, всего-то поцапались, дело-то обычное. А мисс Одли раскричалась и меня из класса выгнала.

Гровер с любопытством посмотрел на меня:

– Не надоело вам постоянно колошматить друг друга?

– А чего он лезет-то? – фыркнул я. – Ничего не понимает, ну и...

Не дав мне договорить, Гровер достал из холодильника две банки фруктовой шипучки, одну оставил себе, а вторую швырнул мне.

– Эй, а ты не думаешь, что ваши споры лучше разрешить соревнованием, а не дракой?

– Ну... – Я честно задумался, и брови мои недоуменно поползли вверх. – А во что соревноваться?

Осушив банку шипучки, Гровер смял ее и ловко закинул в раковину.

– Есть только одно, достойное мужчин соревнование – футбол, конечно! – В доказательство своих слов он увесисто стукнул ладонью по столу.

Я допил свою шипучку, забросил банку туда же, в раковину, поразмыслил секунду и важно изрек:

– Я готов!

Гровер покати́лся со смеху:

– Ну, ты, братишка, прямо вылитый Бобби Чарльтон!⁶ Идем, тебе переодеться надо, и лицо умыть не забудь, а то мама покажет тебе, да и мне за тебя достанется.

С того памятного разговора я заболел футболом, и отныне все школьные перемены мы с ребятами гоняли мяч на спортивной площадке.

Мама обычно являлась домой под вечер. Уставшая после работы, заходила она в трейлер, постукивая туфлями-лодочками по металлическим ступенькам. Как ни странно, она своим поведением все больше стала напоминать мне отца. Так же, как некогда отец, окидывала она безразличным взглядом нашу убогую обстановку и тянулась рукой к холодильнику. Так же она доставала банку пива, открывала ее, щелкая ногтями, жадно глотала пахучую темно-коричневую жидкость. Тонкие пальцы мамы оставляли оттаявшие узоры на припорошенном мерзлым воздухом алюминии пивной банки.

Гровер часто допоздна задерживался – то на заводе вкалывал, то с друзьями отдыхал, по округе шастая. Я вечером оставался с мамой наедине и принимался красочно описывать прошедший в школе день, в основном рассказывал, как мы с ребятами в футбол играем. И мама оживала, на ее губах появлялся отблеск улыбки, а в глазах загорался хоть и бледный, но озорной огонек, – словно она представляла, как я играю за национальную сборную Англии на чемпионате мира.

А однажды я решился задать ей вопрос, который много-много дней таил в себе, не выпуская наружу.

– Мам? Ты по папе скучаешь? – спросил я.

Сложив на коленях руки, мама внимательно посмотрела на меня. Зрачки ее казались фарфоровыми.

– Я и сама не знаю, малыш, – выдохнула она, легонько дотронувшись пальцами до моей щеки. Мне стало щекотно, и я, наклонив голову, потерся о мамино запястье, как ласкающийся щенок. – Наверное, просто не до конца привыкла к тому, что все так вышло. Оттого и... скучаю, бывает. – Она скривила в печальной улыбке губы.

Папа нас променял. Предал. Загубил мамину улыбку. Вот как я теперь считал. Злость моя на него никуда не испарилась, хоть и не выходила наружу, таилась где-то глубоко внутри, обволакивая сердце.

Той же ночью я проснулся от приглушенных голосов, которые звучали поблизости, но спросонья казались мне ненастоящими, механическими. Поморгав, я зевнул и посмотрел по сторонам. Мамы рядом не оказалось. В белесой темноте проступали очертания находящихся в трейлере предметов. Голоса зазвучали более отчетливо, и я перевел взгляд на слегка приоткрытую дверцу трейлера. Видимо, на улице был ветерок, и неплотно прикрытая дверь слегка раскачивалась и поскрипывала. Внутри, лизнув пол и уголок стены, скользнула тускло-желтая линия света, тянущаяся от уличного фонаря, который нависал над дорогой возле нашего трейлера. Протерев глаза, я пошарил по полу рукой, нашел свои кроссовки и, натянув их на ступни наполовину, подобрался к окну. Мне пришлось залезть на кухонный шкафчик рядом с раковиной, чтобы выглянуть в окно на улицу.

Перед трейлером, на сваленных в кучу каких-то коробках сидела мама. Между ее пальцами мигал оранжевый огонек сигареты, голову мама задрала вверх, следя за снующей перед ее носом темной фигурой. То был Гровер. Он ходил взад-вперед, тревожно потирая затылок и судорожно поднося к губам сигарету.

– Ты меня не проведешь, – говорил Гровер, – но, ладно я, ты о Чонси подумала, мама?

Голос Гровера был непривычно суровым и резким, и я испугался. Мама молча сидела, слушала, изредка затягивалась сигаретой. Я подтянулся, подобрал под себя ноги, чтобы удоб-

⁶ Английский футболист. Большую часть карьеры провёл за «Манчестер Юнайтед», в котором был капитаном.

нее устроиться перед окном. Наткнулся коленом на что-то твердое около раковины, и чуть было не свалился. Но удержался.

– Да, я... я все понимаю, милый, – наконец, ответила мама брату. – Мне сложно справиться с жизнью, а это... это хоть как-то держит меня, что называется, в седле. – Договорив, мама кинула наземь потухший окурок и заправила за ухо спавшие на плечи пряди волос. Я услышал, как тяжело вздохнул Гровер.

– Заправляться алкоголем – не выход, и ты это знаешь. Вспомни, что папа... – Гровер не договорил, а все из-за ложки, попавшей мне под колено: соскользнув со шкафчика, я с грохотом упал на пол. В трейлер тут же влетел брат и зажег свет. Следом вбежала мама; глаза ее блестели от слез, как будто сырнй диск луны навсегда впечатался в ее зрачки. Валяясь на полу, я в ужасе уставился на маму. Алкоголь. Вряд ли меня можно было сильнее напугать.

Близилась зима, однако легкая прохлада, покусывающая щеки и кончики пальцев, ничуть не отбила у меня желания играть на улице в футбол. Напротив, как только выдавались долгожданные минуты перерыва между уроками, мы с ребятами наперегонки бежали во двор. Толкались на ходу, сшибая все на своем пути, отвешивали друг другу подзатыльники и раздавали пинки впереди бегущим. Джоэл и Гарри – бессменные участники моей «банды» – повсюду таскались за мной, еще четверо ребят присоединились к моей команде, которую я окрестил «The Black Sam's»⁷ – в честь пирата, о котором рассказывал мне Гровер. Мы много тренировались, и нам часто удавалось громить команду Сэма Данкина с его друзьями. Данкин злился, кривил губы, как обиженный осел, и норовил со всей дури ударить в меня мячом. У него то хоть и было обычно на одного человека в команде больше, но счет-то всегда был в нашу пользу. Каждую победу мы праздновали так, словно именно мы являемся лучшими футболистами на всем белом свете. Ох и любил я забить гол в ворота противника, издать победный клич, сорвать с себя жилет от школьной формы и, размахивая им над головой, нестись по двору к восторгу девчонок. Справедливости ради, надо сказать, что все наши были хороши. Джоэл умелыми финтами обходил соперников и пасовал мне. Он мчался зигзагами, меняя направление движения, а, в случае силового контакта, расшвыривал противников как котят. Гарри всегда подстраховывал действия Джоэла, и самоотверженно боролся за мяч, отлично толкаясь своими острыми локтями.

Со стороны наши игры-побоища наверняка выглядели чем-то далеким от настоящего футбола, ближе к бою быков. Особенно в дождливую погоду. По крайней мере, остальные учащиеся младшей школы предпочитали на перемене носиться по коридору, а не месить с нами грязь на футбольной площадке.

И, когда мы возвращались в класс, то едва на ногах держались, потные, грязные, все ноги в ссадинах и синяках. А иногда так заигрывались, что не слышали звонок на урок. Тогда мисс Одли высовывалась из окна класса и громко в ладони хлопала, привлекая наше внимание. А потом отчитывала нас перед всем классом. Как только уроки заканчивались, мы вновь возвращались к футболу. Уже со зрителями: девчонки присаживались на лавчонки и с интересом наблюдали за нашими баталиями.

Заканчивая игру, мы всегда подражали настоящим профессиональным футболистам: руки соперникам пожимали, даже мы с Сэмом соблюдали этот священный спортивный ритуал. Мы по-прежнему считались заклятыми врагами, но признавали мужество и упорство друг друга.

Я никогда не спешил домой из школы. Ведь мама и Гровер были на работе, а находиться дома одному не особо большое удовольствие. Я не любил тишину дома. Наоборот, мне нравилось, когда из кухни доносился бодрый шум, жизнерадостные позвякивания и громыха-

⁷ Сэмюэль Беллами, или Черный Сэм Беллами – один из самых знаменитых пиратов периода золотого века пиратства.

ния, мама что-то напевает возле миниатюрной плиты; Гровер, снующий туда-сюда и, конечно, музыка из его магнитофона.

Шататься просто так по улице тоже быстро надоедало. Поэтому я воображал себя знаменитым путешественником, который бредет по пустыне с большущим, как верблюжий горб, рюкзаком. Ноги мои подкашиваются от усталости, я мечтаю хотя бы об одном глотке воды. Но, я суров и закален, иду и иду вперед, не ведая сомнений и страха. Бывало, я так увлекался, что доходил до самой пристани с маяком, куда меня когда-то давно водил Гровер. Недалеко от причала возвышается огромный завод, от которого воняет рыбой. Там и трудился в поте лица мой брат; вот и пахнет от него так, будто он вывалился в рыбной чешуе с ног до головы, никаким мылом не отмоешься. Как бы ни хотелось мне заглянуть внутрь, я не мог этого сделать при всем своем желании: на завод пропускали по специальному удостоверению, а детям вход был воспрещен категорически. Оставалось только наблюдать издали, как открываются-закрываются темно-зеленые двери на заводской проходной, через которые рабочие идут сплошным потоком. Как морской прилив – на смену, как морской отлив – домой.

Иной раз я так и Гровера дожидался. Выходил он из ворот, ссутулившись, поверх футболки расстегнутая рубашка, руки засунуты в карманы джинсов. Во рту торчит сигарета, большие башмаки стучат по асфальту. Я из всех сил сдерживался, чтобы не окликнуть его. Топал тихонько за ним, такая у меня была новая игра в шпионов: позвольте представиться, меня зовут Бонд, Чонси Бонд! Меня страшно забавляло то, что Гровер понятия не имеет, кто идет по его следам. Вот он заворачивает за угол, а я подскакиваю сзади и набрасываюсь на него с криком. От неожиданности Гровер выплевывает сигарету и ругается. Но, долго сердиться на меня у него не получается: «А ну, иди сюда, маленький засранец!» – и вот я уже еду домой с комфортом на его плечах. Конечно, он сильно уставал на работе и часто спускал меня обратно на землю, однако предпочитал шутить, а не жаловаться: «Ну и вымахал же ты, Чонс, настоящий громила!»

Во время своих шатаний по улицам я действительно, как настоящий путешественник, открывал для себя город, в котором живу. И прежде всего, открывал запахи города. От асфальта пахнет мылом, от домов – геранью, горшки с которой виднелись в каждом окошке, от замерзших клумб – свежестыраным бельем, от качелей на детских площадках пахнет конфетами. По дороге изредка проезжают автобусы, они пахнут бензином, табаком и кожей. Иногда я сажусь в автобус, чтобы добраться до кондитерской, в которой работает мама. Во время поездки всегда смотрю в окно: почтовые ящики, тощие деревца, запыленные телефонные будки, люди на тротуарах, кафедральный собор, невзрачные пабы, голуби. Мое любимое место – остановка напротив стадиона «Хоум Парк». Удержаться невозможно, я выскакиваю из автобуса и обхожу несколько раз вокруг стадиона. Я закрываю глаза и представляю, как выхожу на поле под рев трибун, бью по воротам, гол, гол, го-о-ол! Вздывая руки, я в восторге бегу назад к автобусной остановке.

Я отчетливо помню, как зашел однажды к маме на работу. Перед входом в кондитерскую по привычке посмотрелся в вычищенную до блеска витрину и пригладил волосы на голове. Маму я застал в отличном настроении: она, раздаривая улыбки покупателям, протягивала сладкоежкам запечатанные в коробочке творожные пончики, рисовый пудинг и ягодный крамбл, лимонные коржики и пряные булочки, политые молочной глазурью. Ее улыбка засияла еще ярче, как только она увидела меня. Я даже опешил, почесал за ухом и уселся в укромный уголок у самого входа в кондитерскую – там стоял одноместный столик, покрытый белесой скатертью в гороховом узоре. Помахав своею бледно-персиковой ладонью, мама подмигнула мне и прошептала, что скоро подойдет; она умела произносить слова беззвучно, так, чтобы ее, кроме меня, никто не понял. Ни с чем несравнимый апельсиново-хлебный запах наполнял кондитерскую. Мои пальцы сами потянулись к стоящей на столе салфетнице, и я принялся ворошить и менять местами хлопковые на ощупь салфетки, как будто составлял гербарий.

Вскоре мое внимание с салфеток переключилось на громко болтающих подружек, заскочивших перекусить чего-нибудь сладенького. Пять ярких девушек в мини-юбках, заказав порционные кексы с изюмом и цукатами, какао и ириски, устроились на высоких стульях неподалеку от меня, возле небольшого оконца, пускающего тусклый дневной свет. Накрашенные лица девушек как будто сливались в цветастое полотно художника импрессиониста. Копны рафинированных кудрей, объемные челки и украшенные ободками волосы – прически девушек соответствовали всем правилам моды. Одна из них, закинув ногу на ногу, покачивала мыском сандалий и кокетливо придерживала юбку, туго обтягивающую бедра. Как замороженный, я наблюдал за ней и вдруг ясно ощутил, что хочу привлечь их внимание. Хочу, чтобы эти незнакомые красавицы слушали мои рассказы, смеялись моим шуткам и восхищались моими футбольными победами. В этот самый момент, я впервые отчетливо понял, что хочу быть *знаменитым* и знаменитым не понарошку – взаправду.

Подошла мама, поставила передо мной фиалкового цвета тарелку с бисквитом, облокотилась на угол стола и стала любовно рассматривать меня, словно давно не видела. Позади нее щебетали говорливые подружки, уплетая ириски.

– Я хочу чем-нибудь тебе помочь, мам, – сказал я, скосив взгляд на девушек. – Хочешь, отнесу кому-нибудь тарелки?

Удивленно вскинув бровью, мама проследила за моим взглядом, заметила красавиц в мини-юбках и улыбнулась. Щеки мои немедленно начали розоветь, и я в ужасе от смущения уставился свои ботинки.

– Ну, пойдем. – Приобняв меня за плечи, мама провела меня за прилавок, уставленный кондитерскими изделиями: усыпанные ореховой пудрой песочные печенья; разукрашенные всеми цветами фруктов и ягод пудинги. И пирожные с заварным кремом, и банановый йогурт, и рисовые хлопья с корицей и шоколадной стружкой, и даже мусс из крыжовника и мяты, и лепешки с зеленью, и уэльский смородиновый торт. Я получил в руки заказ девушек, сразу две кружки какао, и отважно направился к столу, за которым они сидели. Стоило мне подойти, девушки мигом замолчали и уставились на меня. Густые ресницы хлопали и опадали, я замороженно молчал, пауза затягивалась.

– Это вам, – наконец, буркнул я, передав девушкам кружки с горячим какао. В кондитерской по радио на пиратской волне зазвучала знакомая мелодия группы The Kinks⁸ (спасибо Гроверу), благодаря которой мое смущение исчезло, и я пропел знаменитую строчку: «You really got me»⁹.

Одна из девушек, та, чьи волосы спиралями закручивались прямо до плеч, широко улыбнулась и, чуть привстав, чтобы быть одного со мной роста, чмокнула меня в щеку. На щеке остался сладкий отпечаток покрашенных губ. В моей душе запели ангелы: «*Ты реально заполучила меня*» – в унисон с мелодией, играющей по радио.

Довольный и взволнованный, я приложил к щеке ладонь, после чего вернулся за свой стол. Бисквит с джемом был мне наградой за смелость. Облизывая с губ джем, я представлял, как приду домой и похвастаюсь перед братом. «Меня заметили, – думал я, – а, значит, я существую!» В отличие от известного афоризма Декарта, мне даже не понадобилось мыслить, достаточно было спеть. В довершение удачи, по пути домой мы с мамой зашли в универмаг, и она купила мне мороженое.

А всего через каких-то несколько недель мама обзавелась другом, самым что ни на есть настоящим мужчиной, с которым по счастливой случайности столкнулась тогда в универмаге. Столкнулись они между мясным и рыбным отделами универмага, когда мама, не замечая ничего и никого вокруг из-за съехавшего на глаза платка, корзинкой для покупок задела иду-

⁸ Британская рок-группа, сформировалась в 60-х годах. Одни из основоположников субкультуры модов.

⁹ «Ты реально заполучила меня»

щего навстречу незнакомца. Он тут же выронил из рук пачку чипсов и пакет сока; мама же распрощалась с выпавшими из корзинки пачками мороженого. Услышав шум, я выглянул из-за рядов с товарами и увидел, как какой-то незнакомец, засучив рукава выцветшего свитера, с улыбкой подбирает наши покупки и осторожно кладет их обратно в корзинку. Как и подобает настоящему ирландцу, он извинился за свою невнимательность и сверх того адресовал маме широкую улыбку, которую не могли испортить даже желтоватые от никотина зубы. Мама оживилась и, казалось, не могла глаз отвести от молодого дублинца. Джон был из тех, кого называют рубаха-парень. Он говорил с шепелявым дублинским акцентом и постоянно теребил три кольца в своем левом ухе, чем привлекал к себе внимание. И, да, он был моложе мамы.

Через некоторое время Джонни практически обосновался у нас, сначала заходя в гости, а потом и оставаясь на ночь. Гроверу он сразу не понравился. То ли он ревновал его к маме, то ли с Джонни действительно было что-то не так. Мне он казался просто странным. Однако на маму новый друг подействовал весьма благотворно. В руках ее теперь никогда не появлялись пузатые бутылки янтарного цвета имени «Джонни Уокера» – на смену им пришел настоящий Джонни.

– Не нравится он мне, – в сотый раз повторил мне Гровер, когда в выходной день, после завтрака мы отправились погулять на свежем воздухе. – И взгляд у него какой-то мутный. – Я автоматически поддакивал брату, хотя больше опасался, что Джонни окажется таким же, как и наш отец, хотя внешне они разительно отличались друг от друга. Однако на губах мамы все чаще блуждали беспричинные улыбки, и одно это перевешивало все мои опасения. Рядом с дядей Джонни (именно так мама просила называть его) она расцветала и превращалась в молоденькую девушку, по уши влюбленную в своего ирландского принца. Она похорошела, стала ярче одеваться, чтобы не бросалась в глаза их разница в возрасте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.